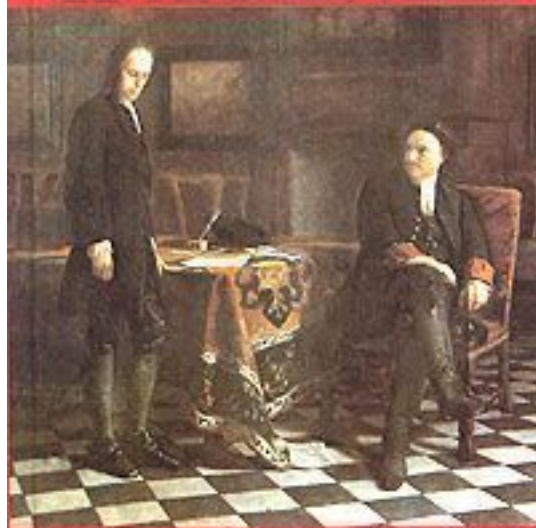


# ПЕТР И АЛЕКСЕЙ



Дмитрий Мережковский

Христос и Антихрист

Дмитрий Мережковский

**Петр и Алексей**

«Public Domain»

1902

## Мережковский Д. С.

Петр и Алексей / Д. С. Мережковский — «Public Domain»,  
1902 — (Христос и Антихрист)

Согласно социологическим опросам, россияне начала XXI века признают Петра I наиболее выдающимся соотечественником всех времен и народов. Есть, безусловно, и другие мнения. Почти никому из своих правителей российский народ ничего не простил. Петру он простил все. Он оправдал сотни тысяч загубленных жизней, сыноубийство и оттяжку с законом о престолонаследии, отодвинувшую продолжение реформ лет на сто с лишним. Личность Петра Великого всегда интересовала крупнейших русских писателей. Прозаику, поэту, драматургу, религиозному философу, критику Дмитрию Сергеевичу Мережковскому (1865-1941) широко задуманная им прозаическая трилогия «Христос и Антихрист» («Смерть Богов. Юлиан Отступник», 1896; «Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи», 1901; «Петр и Алексей», 1904), долженствующая изобразить борьбу Христа и Антихриста во всемирной истории, принесла общеевропейскую известность.

© Мережковский Д. С., 1902

© Public Domain, 1902

## Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
КНИГА ВТОРАЯ	28
КНИГА ТРЕТЬЯ	52
ДНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕЙМ	52
Конец ознакомительного фрагмента.	72

# Дмитрий Сергеевич Мережковский

## Петр и Алексей

### (Христос и Антихрист -3)

#### КНИГА ПЕРВАЯ

#### ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕНЕРА

– АНТИХРИСТ хочет быть. Сам он, последний черт, не бывал еще, а щенят его народилось – полна поднебесная.

Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо антихристово строят. А как устроят, да вычистят гладко везде, так сам он в свое время и явится. При дверях уже – скоро будет!

Это говорил старик лет пятидесяти в оборванном подьяческом кафтане молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босую ногу, сидевшему за столом.

– И откуда вы все это знаете? – произнес молодой человек. – Писано: ни Сын, ни ангелы не ведают. А вы знаете...

Он помолчал, зевнул и спросил:

– Из раскольников, что ли?

– Православный.

– В Петербург зачем приехал?

– С Москвы взял из домишку своего с приходными и расходными книгами, по доношению фискальному во взятках.

– Брал?

– Брал. Не из неволи или от какого воровства, а по любви и по совести, сколько кто даст за труды наши приказные.

Он говорил так просто, что, видно было, в самом деле не считал взятки грехом.

– И ко обличению вины моей он, фискал, ничего не донес. А только по запискам подрядчиков, которые во многие годы по-небольшому давали, насчитано оных дач на меня 215 рублей, а мне платить нечем. Нищ семь, стар, скорбен, и убог, и увечен, и мизерен, и приказных дел нести не могу – бью челом об отставке. Ваше премилосердное высочество, призри благоутробием щедрот своих, заступись за старца беззаступного, да освободи от онога платежа неправедного. Смилуйся, пожалуй, государь царевич Алексей Петрович!

Царевич Алексей встретил этого старика несколько месяцев назад в Петербурге, в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, что близ речки Фонтанной и Шереметевского двора на Литейной. Заметив его по необычной для приказных, давно не бритой седой бороде и по истовому чтению Псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подьячим Московского Артиллерийского приказа, Ларионом Докукиным; приехал он из Москвы и остановился в доме просвирни той же Симеоновской церкви; упомянул о нищете своей, о фискальном доношении; а также, едва не с первых слов – об Антихристе. Старик показался царевичу жалким. Он велел ему придти к себе на дом, чтобы помочь советом и деньгами.

Теперь Докукин стоял перед ним, в своем оборванном кафтанишке, похожий на нищего. Это был самый обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками. Жесткие, точно окаменелые, морщины, жесткий, холодный взгляд маленьких тусклых глаз, жесткая запущенная седая борода, лицо серое, скучное, как те бумаги, которые он переписывал; корпел, корпел над ними, должно быть, лет тридцать в своем приказе, брал

взятки с подрядчиков по любви да по совести, а может быть, и кляузничал, – и вот до чего вдруг додумался: Антихрист хочет быть.

«Уж не плут ли?» – усумнился царевич, взглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорее что-то простодушное и беспомощное, угрюмое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одною неподвижною мыслью.

– Я еще и по другому делу из Москвы приехал, добавил старик и как будто замялся. Неподвижная мысль с медленным усилием проступала в жестких чертах его.

Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху бумаги и подал их царевичу.

Это были две тоненькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупно и четко подъяческим почерком.

Алексей начал их читать рассеянно, но потом все с большим и большим вниманием.

Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и Апокалипсиса об Антихристе, о кончине мира. Затем – воззвание к «архипастырям великой России и всей вселенной», с мольбою простить его, Докукина, «дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от многой скорби своей и жалости, и ревности к церкви», а также заступиться за него перед царем и прилежно упросить, чтоб он его помиловал и выслушал.

Далее следовала, видимо, главная мысль Докукина:

«Поведено человеку от Бога самовластну быть».

И наконец – обличие государя Петра Алексеевича:

«Ныне же все мы от онаго божественного дарасамовластной и свободной жизни отрезаемы, а также домов и торгов, землевладательства и рукодельства, и всех своих прежних промыслов и древле установленных законов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом, из места в место, из града в град гонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой и язык, и платье изменили, головы и бороды обрили, персоны свои ругательски обесчестили. Нет уже в нас ни доброты, ни вида, ни различия с иноверными; но до конца смешили с ними, делам их навыкли, а свои христианские обеты опровергли и святые церкви опустошили. От Востока очи смежили: на Запад ноги в бегство обратили, странным и неведомым путем пошли и в земле забвения погибли. Чужих установили, всеми благами угобзили, а своих, природных гладом поморили и, бьючи на правежах, несносными податями до основания разорили. Иное же и сказать неудобно, удобнее устам своим ограду положить. Но весьма сердце болит, видя опустошение Нового Иерусалима и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами!».

«Все же сие, – говорилось в заключение, – творят нам за имя Господа нашего Иисуса Христа. О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь, станьте добре и оружием Креста вооружитесь на силу антихристову! Потерпите Господа ради, мало еще потерпите! Не оставит нас Христос, Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь!».

– Для чего ты это писал? – спросил царевич, дочитав тетрадки.

– Одно письмо такое же намедни подкинул у Симеоновской церкви на паперти, – отвечал Докукин. – Да то письмо, найдя, сожгли и государю не донесли и розыску не делали. А эту молитву прибить хочу у Троицы, возле дворца государева, чтоб все, кто бы ни читал, что в ней написано, знали о том и донесли бы его царскому величеству. А написал сие во исправление, дабы некогда, пришед в себя, его царское величество исправился.

«Плут! – опять промелькнуло в голове Алексея. А, может быть, и доносчик! И догадал меня черт связаться с ним!» – А знаешь ли, Ларион, – сказал он, глядя ему прямо в глаза, – знаешь ли, что о сем твоём возмутительном и бунтовском писании я, по должности моей гражданской и сыновней, государю батюшке донести имею? Воинского же Устава по артикулу двадцатому: кто против его величества хулительными словами погрешит, тот живота лишен и отсечением головы казнен будет.

– Воля твоя, царевич. Я и сам думал было с тем явиться, чтобы пострадать за слово Христово.

Он сказал это так же просто, как только что говорил о взятках. Еще пристальнее взгляделся в него царевич.

Перед ним был все тот же обыкновенный подьячий, приказная строка; все тот же холодный тусклый взгляд, скучное лицо. Только в самой глубине глаз опять зашевелилось что-то медленным усилием.

– В уме ли ты, старик? Подумай, что ты делаешь?

Попадешь в гарнизонный застенок – там с тобой шутить не будут: за ребро повесят, да еще прокоптят, как вашего Гришку Талицкого.

Талицкий был один из проповедников конца мира и второго пришествия, утверждавший, что государь Петр Алексеевич – Антихрист, и несколько лет тому назад казненный страшною казнью копчения на медленном огне.

– За помощью Божией готов и дух свой предать, ответил старик. – Когда не ныне, умрем же всячески.

Надобно бы что доброе сделать, с чем бы предстать перед Господом, а то без смерти и мы не будем.

Он говорил все так же просто; но что-то было в спокойном лице его, в тихом голосе, что внушало уверенность, что этот отставной артиллерийский подьячий, обвиняемый во взятках, действительно пойдет на смерть, не ужасаясь, как один из тех таинственных мучеников, о которых он упоминал в своей молитве.

«Нет, – решил вдруг царевич, – не плут и не доносчик, а либо помешанный, либо в самом деле мученик!» Старик опустил голову и прибавил еще тише, как будто про себя, забыв о собеседнике:

– Поведено от Бога человеку самовластну быть.

Алексей молча встал, вырвал листок из тетрадки, зажег его о горевшую в углу перед образами лампадку, вынул отдушник, открыл дверцу печки, сунул туда бумаги, подождал, мешая кочергой, чтоб они сгорели дотла, и когда остался лишь пепел, подошел к Докукину, который, стоя на месте, только глазами следил за ним, положил руку на плечо его и сказал:

– Слушай, старик. Никому я на тебя не донесу. Вижу, что ты человек правдивый. Верю тебе. Скажи: хочешь мне добра?

Докукин не ответил, но посмотрел на него так, что не нужно было ответа.

– А коли хочешь, выкинь дурь из головы! О бунтовских письмах и думать не смей – не такое нынче время.

Ежели попадешься, да узнают, что ты был у меня, так и мне худо будет. Ступай с Богом и больше не приходи никогда. Ни с кем не говори обо мне. Коли спрашивать будут, молчи. Да уезжай-ка поскорей из Петербурга.

Смотри же. Ларион, будешь помнить волю мою?

– Куда нам из воли твоей выступить? – проговорил Докукин. – Видит Бог, я тебе верный слуга до смерти.

– О доносе фискальном не хлопочи, – продолжал Алексей. – Я слово замолвлю, где надо. Будь покоен, тебя освободят от всего. Ну, ступай... или нет, постой, давай платок.

Докукин подал ему большой синий клетчатый, полинялый и дырявый, такой же «мизерный», как сам его владелец, носовой платок. Царевич выдвинул ящик маленькой ореховой конторки, стоявшей рядом со столом, вынул оттуда, не считая, серебром и медью рублей двадцать – для нищего Докукина целое сокровище – завернул деньги в платок и отдал с ласковой улыбкою.

– Возьми на дорогу. Как вернешься в Москву, закажи молебен в Архангельском и частицу вынь за здравие раба Божия Алексея. Только смотри, не проговорись, что за царевича.

Старик взял деньги, но не благодарил и не уходил.

Он стоял по-прежнему, опустив голову. Наконец, поднял глаза и начал было торжественно, должно быть, заранее приготовленную речь:

– Как древле Самсону утолил Бог жажду через ослиную челюсть, так и ныне тот же Бог не учинит ли через мое неразумение тебе, государь, нечто подобное и прохладительное?

Но вдруг не выдержал, голос его пресекся, торжественная речь оборвалась, губы задрожали, весь он затрясся и повалился в ноги царевичу.

– Смилуйся, батюшка! Послушай нас бедных, вопиющих, последних рабов твоих! Порадей за веру христианскую, воздвигни и досмотри, даруй церкви мир и единомыслие. Ей, государь царевич, дитяtko красное, церковное, солнышко ты наше, надежда Российская! Тобой хочет весь мир просветиться, о тебе люди Божий расточенные радуются! Если не ты по Господе Боге, кто нам поможет?

Пропали, пропали мы все без тебя, родимый. Смилуйся!

Он обнимал и целовал ноги его с рыданием. Царевич слушал, и ему казалось, что в этой отчаянной мольбе доносится к нему мольба всех погибающих, «оскорбляемых и озлобляемых» – вопль всего народа о помощи.

– Полно-ка, полно, старик, – проговорил он, наклонившись к нему и стараясь поднять его. – Разве я не знаю, не вижу? Разве не болит мое сердце за вас? Одно у нас горе.

Где вы, там и я. Коли даст Бог, на царстве буду – все сделаю, чтоб облегчить народ. Тогда и тебя не забуду: мне верные слуги нужны. А пока терпите да молитесь, чтобы скорее дал Бог совершение – буде же воля Его святая во всем!

Он помог ему встать. Теперь старик казался очень дряхлым, слабым и жалким. Только глаза его сияли такою радостью, как будто он уже видел спасение России.

Алексей обнял и поцеловал его в лоб.

– Прощай, Ларион. Даст Бог свидимся, Христос с тобой!

Когда Докукин ушел, царевич сел опять в свое кожаное кресло, старое, прорванное, с волосяною обивкою, торчавшею из дыр, но очень спокойное, мягкое, и погрузился не то в дремоту, не то в оцепенение.

Ему было двадцать пять лет. Он был высокого роста, худ и узок в плечах, со впалую грудь; лицо тоже узкое, до странности длинное, точно вытянутое и заостренное книзу, старообразное и болезненное, со смугло-желтым цветом кожи, как у людей, страдающих печенью; рот очень маленький и жалобный, детский; непомерно большой, точно лысый, крутой и круглый лоб, обрамленный жидкими косицами длинных, прямых черных волос. Такие лица бывают у монастырских служек и сельских дьячков. Но когда он улыбался, глаза его сияли умом и добротой. Лицо сразу молодело и хорошело, как будто освещалось тихим внутренним светом. В эти минуты напоминал он деда своего, Тишайшего царя Алексея Михайловича в молодости.

Теперь, в грязном шлафроке, в стоптанных туфлях на босу ногу, заспанный, небритый, с пухом на волосах, он мало похож был на сына Петра. С похмелья после вчерашней попойки проспал весь день и встал недавно, только перед самым вечером. Через дверь, отворенную в соседнюю комнату, видна была неубранная постель со смятыми огромными пуховиками и несвежим бельем.

На рабочем столе, за которым он сидел, валялись в беспорядке заржавевшие и запыленные математические инструменты, старинная сломанная кадиленка с ладаном, табачная терка, пеньковые пипки, коробочка из-под пудры для волос, служившая пепельницей; вороха бумаг и груды книг в таком же беспорядке: рукописные заметки ко всемирной Летописи Барония покрывала куча картузного табаку; на странице раскрытой, растерзанной, с оборванным корешком, Книги, именуемой Геометрия или Землемерие радикалом и циркулем к научению мудролюбивых тщателей, лежал недоеденный соленый огурец; на оловянной тарелке – обглоданная кость и липкая от померанцевой настойки рюмка, в которой билась и жужжала муха.

И по стенам с ободранными, замаранными шпалерами из темно-зеленой травчатой клеенки, и по закоптелому потолку, и по тусклым стеклам окон, не выставленных, несмотря на жаркий конец июня, – всюду густыми черными роями жужжали, кишели и ползали мухи.

Мухи жужжали над ним. Он вспомнил драку, которой кончилась вчерашняя попойка. Жибанда ударил Засыпку, Засыпка – Захлюстку, и отец Ад и Грач с Молохом свалились под стол; это были прозвища, данные царевичем его собутыльникам, «за домовную издевку». И сам он, Алексей Грешный – тоже прозвище – кого-то бил и драл за волосы, но кого именно, не помнил. Тогда было смешно, а теперь гадко и стыдно.

Голова разбалчивалась. Выпить бы еще померанцевой, опохмелиться. Да лень встать, позвать слугу, лень двинуться. А сейчас надо одеваться, напяливать узкий мундирный кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильнее болит голова, и ехать в Летний сад на маскарадное сборище, где велено быть всем «под жестоким штрафом».

Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и в стрякотки-блякотки. Большой взьерошенный чижик в клетке под окном изредка чирикал жалобно.

Маятник высоких, стоячих, с курантным боем, английских часов – давнишний подарок отца – тикал однообразно.

Из комнат верхнего жилья слышались унылые бесконечные гаммы, которые разыгрывала на дребезжащем, стареньком немецком клавесине жена Алексея, кронпринцесса София, Шарлотта, дочь Вольфенбюттельского герцога. Он вдруг вспомнил, как вчера, пьяный, ругал ее Жибанде и Захлюстке: «Вот жену мне на шею чертовку навязали: как-де к ней ни приду; все сердитует и не хочет со мною говорить. Этакая фря немецкая!» – "Не хорошо, подумал он. – Много я пьяный лишних слов говорю, а потом себя очень зазираю" ... И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фря? Больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стороне, такая же несчастная, как он. И она его любит – может быть, она одна только и любит его. Он вспомнил, как они намеренно поссорились. Она закричала: «Последний сапожник в Германии лучше обращается со своею женою, чем вы!» Он злобно пожал плечами: «Возвращайтесь же с Богом в Германию!» – "Да, если бы я не была..." и не кончила, заплакала, указывая на свой живот – она была беременна. Как сейчас, видит он эти припухшие, бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру – только что бедняжка нарочно для него припудрилась – струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему от беременности и такому жалкому, детски-беспомощному лицу. Ведь он и сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет по временам внезапною и безнадежною, острою до боли, нестерпимую жалостью. Зачем же он мучит ее? Как не грешно ему, не стыдно? Даст он за нее ответ Богу.

Мухи одолели его. Косой, горячий, красный луч заходящего солнца, ударяя прямо в окно, резал глаза.

Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиною к окну и уставился глазами в печку. Это была огромная, с резными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками, голландская печь из русских кафельных изразцов, скованных по углам медными гвоздиками. Густыми красно-зелеными и темно-фиолетовыми красками по белому полю выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения – и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебною яркостью. И в тысячный раз с тупым любопытством царевич разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи. Мужик с балалайкой: музыку умножаю-, человек в кресле с книгою: пользую себя-, тюльпан расцветающий: дух его сладок, старик на коленях перед красавицей: не хочу старого любить; чета, сидящая под кустами: совет наш благ с тобою, и березинская баба, и французские комедианты, и попы, китайский с японским, и Диана, и сказочная птица Малкофея.

А мухи все жужжат, жужжат; и маятник тикает; и чижик уныло пищит; и гаммы доносятся сверху, и крики детей со двора. И острый, красный луч солнца тупеет, темнеет. И разно-

цветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с березинскою бабою; японский поп подмигивает птице Малкофее. И все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы.

Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. «Смилуйся, батюшка, надежда Российская!» – прозвучало в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого – и, как режущий глаза, багровый луч солнца, залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша «надежда Российская!» Водка, сон, лень, ложь, грязь и этот вечный подлый страх перед батюшкой.

Неужели поздно? Неужели кончено? Страхнуть бы все это, уйти, бежать! «Пострадать за слово Христово, прозвучали в нем опять слова Докукина.-: Человеку повелено от Бога самовластно быть». О да, скорее к ним, пока еще не поздно! Они зовут и ждут его, «таинственные мученики».

Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратное – и замер весь в ожидании, прислушиваясь.

В тишине загудели медным, медленным, певучим гулом курантного боя часы. Пробило девять, и когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасьича Большого.

– Ехать пора. Одеваться прикажете? – проворчал он, по своему обыкновению, с такою злобною угрюмостью, точно обругал его.

– Не надо. Не поеду, – сказал Алексей.

– Как угодно. А только всем велено быть. Опять станут батюшка гневаться.

– Ну, ступай, ступай, – хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, вдруг вспомнил, что это ведь его-то. Афанасьича, он и драл вчера за волосы.

Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно.

Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серою сеткою.

А голова в дверях все еще торчала, как прилепленная, не подаваясь ни назад, ни вперед.

– Так прикажете одеваться, что ли? – повторил Афанасьич с еще большею угрюмостью. Алексей безнадежно махнул рукою.

– Ну, все равно, давай!

И видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил:

– Еще бы померанцевой, опохмелиться? Дюже голова трещит со вчерашнего...

Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать: «Не твоей бы голове трещать со вчерашнего!» Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул.

Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига – все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, более страшною, чем вопль и рыдание, безнадежною зевотою.

Через час, вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий, зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами мундир Преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к Летнему саду.

В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в Летнем саду праздник Венеры в честь древней статуи, которую только что привезли из Рима и должны были поставить в галерее над Невею.

«Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля», – хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море или в чужих краях, государыня посылала ему вести о любимом детище: «Огород наш раскинулся изрядно и лучше прошлогоднего: дорога, что от палат, кле-

ном и дубом едва не вся закрылась, и когда ни выйду, часто сожалею, друг мой сердешненькой, что не вместе с вами гуляю».-"Огород наш зеленек стал; уже почало смолою пахнуть"– то есть, смолистым запахом почек.

Действительно, в Летнем саду устроено было все «регулярно по плану», как в «славном огороде Версальском».

Гладко, точно под гребенку, остриженные деревья, геометрически-правильные фигуры цветников, прямые каналы, четырехугольные пруды с лебедями, островками и беседками, затейливые фонтаны, бесконечные аллеи -"перспективы", высокие листовые изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зал,-"людей убеждали, чтобы гулять, а когда утрудится кто, тотчас найдет довольно лавок, феатров, лабиринтов и тапеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое всеприятное уединение".

Но царскому огороду было все-таки далеко до Версальских садов.

Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных роттердамских луковиц. Только скромные северные цветы – любимый Петром пахучий калуфер, махровые пионы и уныло-яркие георгины – росли здесь привольнее. Молодые деревца, привозимые с невероятными трудами на кораблях, на подводках из-за тысяч верст – из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландии – тоже хирели. Скучно питала их слабые корни чужая земля. Зато, «подобно как в Версалии», расставлены были вдоль главных аллей мраморные бюсты – «грудные штуки»– и статуи. Римские императоры, греческие философы, олимпийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикую страну гиперборейских варваров. То были, впрочем, не древние подлинники, а лишь новые подражания плохих итальянских и немецких мастеров. Боги, как будто только что сняв парики да шитые кафтаны, богини – кружевные фонтанжи да роброны и, точно сами удивляясь не совсем приличной наготе своей, походили на жеманных кавалеров и дам, наученных «поступи французских учтивств» при дворе Людовика XIV или герцога Орлеанского.

По одной из боковых аллей сада, по направлению от большого пруда к Неве, шел царевич Алексей. Рядом с ним ковыляла смешная фигурка на кривых ножках, в потертом немецком кафтане, в огромном парике, с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека, внезапно разбуженного. Это был цейхдиректор оружейной канцелярии и новой типографии, первый в Петербурге городке печатного дела мастер, Михаиле Петрович Аврамов.

Сын дьячка, семнадцатилетним школьником, прямо от Часослова и Псалтыри, он попал на торговую шняву, отправляемую из Кроншлота в Амстердам, с грузом дегтя, юфти, кожи и десятка «российских младенцев», выбранных из ребят, которые поострее", в науку за море, по указу Петра. Научившись в Голландии отчасти геометрии, но больше мифологии, Аврамов «был тамошними жителями похвален и печатными курантами опубликован». От природы не глупый, даже «острый» малый, но, как бы раз навсегда изумленный, сбитый с толку слишком внезапным переходом от Псалтыри и Часослова к басням Овидия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто, подобное родимчику, который делается у перепуганных со сна маленьких детей. С той поры так и осталось на лице его это выражение вечной растерянности, ошеломленности.

– Государь царевич, ваше высочество, я тебе как самому Богу исповедуюсь, – говорил Аврамов однообразным плачущим голосом, точно комар жужжал. – Зазирает меня совесть, что поклоняемся, будучи христианами, идолам языческим...

– Каким идолам? – удивился царевич.

Аврамов указал на стоявшие, по обеим сторонам аллеи, мраморные статуи.

– Отцы и деды ставили в домах своих и при путях иконы святые; мы же стыдимся того, но бесстыдные поставляем кумиры. Иконы Божьи имеют на себе силу Божию; подобно тому и в идолах, иконах бесовых, пребывает сила бесовская. Служили мы доднесь единому пьян-

ственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельницкому, во всешутейшем соборе с князем-папою; ныне же и всескверной Венус, блудной богине, служить собираемся.

Называют служения те машкерадами, и не мнят греха, понеже, говорят, самих тех богов отнюдь в натуре нет, болваны же их бездушные в домах и огородах не для чего-де иного, как для украшения, поставляются. И в том весьма, с конечной пагубой души своей, заблуждаются, ибо натуральное и сущее бытие сии ветхие боги имеют...

– Ты веришь в богов?-еще больше удивился царевич.

– Верю, ваше высочество, свидетельству святых отцов, что боги суть бесы, кои, изгнаны именем Христа Распятого из капищ своих, побежали в места пустые, темные, пропастные и угнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы не сущими – до времени. Когда же оскудело древнее христианство, и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, поползли из нор своих: точь-в-точь как всякое непотребное червие и жужелица и прочая ядовитая гадина, излезая из яиц своих, людей жалит, так бесы из ветхих сих идолов – личин своих исходя, христианские души уязвляют и погубляют. Помнишь ли, царевич, видение иже во святых отца Исаакия? Благолепные девы и отроки, их же лица были аки солнца, ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие гласы мусикийские и, утрудив его, оставили еле жива и, так поругавшись, исчезли. И познал святой авва, что были то ветхие боги эллино-римские-Иовиш, Меркуриуш, Аполло и Венус, и Бахус. Ныне и нам, грешным, являются бесы в подобных же видах. А мы любезно приемлем их и в гнусных машкерах, смеившись с ними, скачем и пляшем да все вкупе в преглубокий тартар вринемся, как стадо свиное в пучину морскую, не помышляя того, невежды, сколь страшнейшие суть самых скаредных и черных эфиопских рож сии новые, лепообразные, солнцеподобные, белые черти!

В саду, несмотря на июньскую ночь, было почти темно.

Небо заволакивали низкие, черные, душные, грозовые тучи. Иллюминации еще не зажигали, праздник не начинался. Воздух был тих, как в комнате. Зарницы или очень далекие безгромные молнии вспыхивали, и с каждою вспышкой в голубоватом блеске вдруг выделялись почти ослепительно, режущей глаз белизною мраморные статуи на черной зелени шпалер по обеим сторонам аллеи, точно вдруг белые призраки выступали и потом опять исчезали.

Царевич, после того, что слышал от Аврамова, смотрел на них уже с новым чувством. «А ведь и в самом деле, думал он, -точно белые черти!» Послышались голоса. По звуку одного из них, негромкому, сиповатому, а также по красной точке угля, горевшего, должно быть, в глиняной голландской трубке – высота этой точки отличала исполинский рост курильщика – царевич узнал отца.

Быстро повернул он за угол аллеи в боковую дорожку лабиринта из кустов сирени и букса. «Будто заяц в кусты шмыгнул!» – подумал тотчас со злобою об этом движении своем, почти произвольном, но все же унизительно трусливом.

– Черт знает, что ты такое говоришь, Абрамка! продолжал он с притворною досадою, чтобы скрыть свой стыд. – В уме ты, видно, от многого чтения зашелся;

– Сущую истину говорю, ваше высочество, – возразил Аврамов, не обижаясь. – Сам я на себе познал ту нечистую силу богов. Подустил меня сатана у батюшки твоего, государя, Овидиевых и Вергилиевых книжиц просить для печатания. Одну из оных, с абрисами скверных богов и прочего их сумасбродного действия, я уж в печать издал. И с той поры обезумился и впал в ненасытный блуд, и отступила от меня сила Господня, и стали мне являться в сонных видениях всякие боги, особливо же Бахус и Венус...

– Каким подобием?-спросил Царевич не без любопытства.

– Бахус – подобием тем, как персона еретика Мартына Лютера пишется – немец краснорожий, брюхо, что пивная бочка. Венус же сначала девкою гуляшею прикинулась, с коей живучи в Амстердаме, сваялся я блудно: тело голое, белое, как кипень, уста червленые, очи похабные. А потом, как очнулся я в предбаннике, где и приключилась мне та пакость – обер-

нулась лукавая ведьма отца-протопопа дворовою девкою Акулькою и, ругаячи, что мешаю-де ей в бане париться, нагло меня по лицу мокрым венником съездила и, выскочив во двор, в сугроб снега – дело было зимою – повалилась и тут же по ветру порошею развеялась.

– Да это, может быть, Акулька и была!.. – рассмеялся царевич.

Аврамов хотел что-то возразить, но вдруг замолчал.

Опять слышались голоса, опять зарделась в темноте красная, точно кровавая, точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела сына с отцом в месте, слишком узком, чтобы разойтись. У царевича и тут еще мелькнула было отчаянная мысль – спрятаться, проскользнуть или опять шмыгнуть зайцем в кусты. Но было поздно. Петр увидел его издали и крикнул:

– Зоон!

По-голландски зоон значит сын. Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился тем более, что в последнее время отец перестал говорить с ним вовсе, не только по-голландски, но и по-русски.

Он подошел к отцу, снял шляпу, низко поклонился и поцеловал сначала полу его кафтана, – на Петре был сильно поношенный темно-зеленый Преображенский полковничий мундир с красными отворотами и медными пуговицами, – потом жесткую мозолистую руку.

– Спасибо, Алеша!-сказал Петр, и от этого давно не слыханного «Алеша» сердце Алексея дрогнуло. Спасибо за гостинец. В самую нужную пору пришелся.

Мой-то ведь дуб, что плотами с Казани плавил, бурей на Ладоге разбило. Так, ежели б не твой подарок, с новым-то фрегатом и к осени бы, чай, не управились. Да и лес-от– самый добрый, крепкий что твое железо. Давно я этакого изрядного дуба не видывал!

Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. В своей наследственной вотчине, в Порецкой волости Нижегородского края, давно уже тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу, на тот случай, когда ему особенно понадобится милость батюшки. Проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву, как раз вовремя, и подарил отцу. Это была одна из тех маленьких, робких, иногда неумелых, услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он, впрочем, не обманывал себя – знал, что и эта услуга, так же как все прежние, будет скоро забыта, что и эту случайную, мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большею суровостью.

И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости, сердце забилося от безумной надежды. Он пролепетал что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что «всегда для батюшки рад стараться», и хотел еще раз поцеловать руку его. Но Петр обеими руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо, с полными, почти пухлыми щеками, со вздернутыми и распушенными усиками, – "как у кота Котабрыса", говорили шутники, – с прелестною улыбкою на извилистых, почти женственно-нежных губах; увидел большие темные, ясные глаза, тоже такие страшные, такие милые, что когда-то они снились ему, как снятся влюбленному отроку глаза прекрасной женщины; почувствовал с детства знакомый запах – смесь крепкого кнастера, водки, пота и еще какого-то другого не противного, но грубого солдатского казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате – "конторке" отца; почувствовал тоже с детства знакомое, жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посередине, такую странную, почти забавную на этом грозном лице; ему казалось, а может быть, снилось только, что ребенком, когда отец брал его к себе на колени, он целовал эту смешную ямочку и говорил с восхищением: «совсем, как у бабушки!» Петр, целуя сына в лоб, сказал на своем ломанном голландском языке:

– Good beware Да хранит вас Бог!

И это немного чопорное голландское «вы» вместо «ты» показалось Алексею обаятельно любезным.

Все это увидел он, почувствовал, как в блеске зарницы.

Зарница потухла – и все исчезло. Уж Петр уходил от него, – как всегда, подергивая судорожно плечом, закидывая голову, сильно, по-солдатски размахивал на ходу правой рукой, своим обыкновенным шагом, таким быстрым, что спутники, чтобы поспеть за ним, должны были почти бежать.

Алексей пошел в другую сторону все по той же узкой тропе темного лабиринта. Аврамов не отставал от него.

Он опять заговорил, теперь об архимандрите Александро-Невской Лавры, царском духовнике Феодосии Яновском, которого Петр, назначив «администратором духовных дел», поставил выше первого сановника церкви, престарелого наместника патриаршего престола, Стефана Яворского, и которого многие подозревали в «люторстве», в тайном замысле упразднить почитание икон, мощей, соблюдение постов, монашеский чин, патриаршество и прочие уставы православной церкви. Иные полагали, что Феодосии, или попросту Федоска, мечтает сделаться сам патриархом.

– Сей Федоска, сущий афеист, к тому ж и дерзкий поганец, – говорил Аврамов, – вкрадшись в многоутружденную святую душу монарха и обольстя его, смело разоряет предания и законы христианские, славолюбное и сластолюбное вводит эпикурское, паче же свинское, житие. Он же, беснующийся ересиарх, с чудотворной иконы Богородицы Казанской венец ободрал: «ризничий, дай нож!» кричал и резал проволоку, и золотую цату рвал чеканной работы, и клал себе в карман при всех нагло.

И с плачем все зрящие дивились такому похабству его.

Он же, злой сосуд и самый пакостник, от Бога отвергся, рукописание бесам дал и Спасов образ и Животворящий Крест потоптать, шаленый козел, и поплевать хотел...

Царевич не слушал Аврамова. Он думал о своей радости и старался заглушить разумом эту неразумную, как теперь ему казалось, ребяческую радость.. Чего он ждет, На что надеется? Примирения с отцом? Возможно ли оно, да и хочет ли он сам примирения? Не произошло ли между ними то, чего нельзя забыть, нельзя простить? Он вспомнил, как только что прятался с подлой заячьей трусливостью; вспомнил Докукина, его обличительную молитву против Петра и множество других, еще более страшных, неотразимых обличений. Не за себя одного он восстал на отца. И вот, однако, достаточно было нескольких ласковых слов, одной улыбки – и сердце его снова размягчилось, растаяло – и он уже готов упасть к ногам отца, все забыть, все простить, молить сам о прощении, как будто он виноват; готов за одну еще такую ласку, за одну улыбку отдать ему снова душу свою. «Да неужели же,-подумал Алексей почти с ужасом,-неужели я его так люблю?» Аврамов все еще говорил, точно бессонный комар жужжал в ухо. Царевич вслушался в последние слова его:

– Когда преподобный Митрофаний Воронежский увидел на кровле дворца царева Бахуса, Венус и прочих богов кумиры: «пока-де, сказал, государь не прикажет свергнуть идолов, народ соблазняющих, не могу войти в дом его». И царь почтил святителя, велел убрать идолов.

Так прежде было. А ныне кто скажет правду царю? Не Федоска ли пренечестивый, иконы нарицающий идолами, идолов творящий иконами? Увы, увy нам! До того дошло, что в самый сей день, в сей час, ниспровергнув образ Богородицы, на место его воздвигает он бесоугодную и блудотворную икону Венус. И государь, твой батюшка...

– Отвяжись ты от меня, дурак! – вдруг злобно крикнул царевич. – Отвяжитесь вы все от меня! Чего хнычете, чего лезете ко мне? Ну вас совсем...

Он выругался непристойно.

– Какое мне дело до вас? Ничего я не знаю, да и знать не хочу! Ступайте к батюшке жаловаться: он вас рассудит!..

Они подходили к шкиперской площадке, у фонтана в Средней аллее. Здесь было много народу. На них уже смотрели и прислушивались.

Аврамов побледнел, как будто присел и съежился, глядя на него своим растерянным взглядом – взглядом перепуганного со сна ребенка, у которого вот-вот сделается родимчик.

Алексею стало жаль его.

– Ну, небось, Петрович, – сказал он с доброю улыбкою, которая похожа была на улыбку не отца, а деда, Тишайшего Алексея Михайловича, – небось, не выдам!

Я знаю, ты любишь меня... и батюшку. Только вперед не болтай-ка лишнего...

И с внезапною тенью, пробежавшей по лицу его, прибавил тихо:

– Коли ты и прав, что толку в том? Кому ныне правда нужна? Плетью обуха не перешибешь. Тебя... да и меня никто не слушает.

Между деревьями блеснули первые огни иллюминации: разноцветные фонарики, плоски, пирамиды сальных свечей в окнах и между точеными столбиками сквозной крытой галереи над Невую.

Там уже, как значилось в реляции празднества, «убрано было зело церемониально, с превеликим довольством во всем».

Галерея состояла из трех узких и длинных беседок.

В главной, средней – под стеклянным куполом, нарочно устроенным французским архитектором Леблоном, готово было почетное место – мраморное подножие для Петербургской Венеры.

"Венус купил, – писал Беклемишев Петру из Италии. – В Риме ставят ее за-велико. Ничем не разнится от Флорентийской (Медической) славной, но еще лучше.

У неизвестных людей попалась. Нашли, как рыли фундамент для нового дома. 2000 лет в земле пролежала. Долго стояла у папы в саду Ватиканском. Хоронюсь от охотников. Опасаюсь, о выпуске. Однако она – уже вашего величества".

Петр через своего поверенного, Савву Рагузинского, и кардинала Оттобани вел переговоры с папою Климентом XI, добиваясь разрешения вывезти купленную статую в Россию. Папа долго не соглашался. Царь готов был похитить Венеру. Наконец, после многих дипломатических обходов и происков, разрешение было получено.

«Господин капитан, – писал Петр Ягужинскому, лучшую статую Венус отправить из Ливорны сухим путем до Инзбрука, а оттоль Дунаем водою до Вены, с нарочным провожатым, и в Вене адресовать оную вам. А понеже сия статуя, как сам знаешь, и там славится, того для сделай в Вене каретный станок на пружинах, на котором бы лучше можно было ее отправить до Кракова, чтобы не повредить чем, а от Кракова можно отправить паки водою».

По морям и рекам, через горы и равнины, города и аустыци, и, наконец, через русские бедные селенья, дремуче леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на волнах, то на мягких пружинах, в своем темпом ящике, как в колыбели или в гробу, совершала богиня далекое странствие из Вечного Города в новорожденный городок Петербург.

Когда она благополучно прибыла, царь, как ни хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которой он так долго ждал и о которой так много слышал, – все же победил свое нетерпение и решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в Летнем саду.

Шлюпки, верейки, ботики, эверсы и прочие «новоманерные суда» подъезжали к деревянной лесенке, спускавшейся прямо к воде, и причаливали к вбитым у берега сваям с железными кольцами. Приехавшие, выйдя из ЛОДОК, подымались по лесенке в среднюю галерею, где в огнях иллюминации уже густела, шумела и двигалась нарядная толпа: кавалеры – в цветных шелковых и бархатных кафтанах, треуголках, при шпагах, в чулках и башмаках с пряжками, с высокими каблуками, в пышных пирамидальных, с неестественно роскошными буклями, Манерных, белокурых, реже пудренных париках; дамы – в широчайших круглых юбках на китовом усе-робронах, «на самый последний Версальский манер», с длинными «шелепами» – шлейфами, с румянами и мушками на лице, с кружевными фантажами, перьями и жемчугами

на волосах. Но в блестящей толпе попадались и простые, грубого солдатского сукна, военные мундиры, даже матросские и шкиперские куртки, и пахнущие дегтем, смазчивые сапоги, и кожаные треухи голландских корабельщиков.

Толпа расступилась перед странным шествием: дюки царские гайдуки и гренадеры несли на плечах с трудом, сгибаясь под тяжестью, длинный узкий черный ящик, похожий на гроб. Судя по величине гроба, покойник был нечеловеческого роста. Ящик поставили на пол.

Государь, один, без чужой помощи, принялся его откупоривать. Плотничьи и столярные инструменты так и мелькали в привычных руках Петра. Он торопился и выдергивал гвозди с таким нетерпением, что оцарапал себе руку до крови.

Все толпились, теснясь, приподымаясь на цыпочки, заглядывая с любопытством друг другу через плечи и головы.

Тайный советник Петр Андреич Толстой, долго живший в Италии, человек ученый, к тому же и сочинитель – он первый в России начал переводить «Метаморфозы» Овидия – рассказывал окружавшим его дамам и девицам о развалинах древнего храма Венеры.

– Проездом будучи в Каштель ди Байя близ Неаполя, видел и божницу во имя сей богини Венус. Город весь развалился, и место, где был тогда город, поросло лесом. Божница сделана из плинфов, архитектурой изрядною, со столпами великими. На сводах множество напечатано поганских богов. Видел там и другие божницы – Дианы, Меркурия, Бахуса, коим в местах тех проклятый мучитель Нерон приносил жертвы и за ту свою к ним любовь купно с ними есть в пекле...

Петр Андреич открыл перламутровую табакерку – на крышке изображены были три овечки и пастушок, который развязывает пояс спящей пастушке – поднес табакерку хорошенькой княгине Черкасской, сам понюхал и прибавил с томным вздохом:

– В ту свою бытность в Неаполе я, как сейчас помню, инаморат был в некую славную хорошеством читадинку Франческу. Более 2000 червонных мне стоила. Ажно и до сей поры из сердца моего тот амор выйти не может...

Он так хорошо говорил по-итальянски, что пересыпал и русскую речь итальянскими словами: инаморат – вместо влюблен, читадинка – вместо гражданка.

Толстому было семьдесят лет, но казалось не больше пятидесяти, так как он был крепок, бодр и свеж. Любезностью с дамами мог бы «заткнуть за пояс и молодых охотников до Венус», по выражению царя. Бархатная мягкость движений, тихий бархатный голос, бархатная нежная улыбка, бархатные, удивительно густые, черные, едва ли, впрочем, не крашенные брови: «бархатный весь, а жальце есть», говорили о нем. И сам Петр, не слишком осторожный со своими «птенцами», полагал, что «когда имеешь дело с Толстым, надо держать камень за пазухой», На совести этого «изящного и превосходительного господина» было не одно темное, злое и даже кровавое дело.

Но он умел хоронить концы в воду.

Последние гвозди погнулись, дерево затрещало, крышка поднялась, и ящик открылся. Сначала увидели что-то серое, желтое, похожее на пыль истлевших в гробе костей.

То были сосновые стружки, опилки, войлок, шерстяные очески, положенные для мягкости.

Петр разгребал их, рылся обеими руками и, наконец, нащупав мраморное тело, воскликнул радостно:

– Вот она, вот!

Уже плавил олово для спайки железных скреп, которые должны были соединить подножие с основанием статуи. Архитектор Леблон суетился, приготавливая что-то вроде подъемной машины с лесенками, веревками и блоками. Но сперва надо было на руках вынуть из ящика статую.

Денщики помогали Петру. Когда один из них с нескромною шуткою схватил было «голую девку» там, где не следовало, царь наградил его такой пощечиной, что сразу внушил всем уважение к богине.

Хлопья шерсти, как серые глыбы земли, спадали с гладкого мрамора. И опять, точно так же, как двести лет назад, во Флоренции, выходила из гроба воскресшая богиня.

Веревки натягивались, блоки скрипели. Она подымалась, вставала все выше и выше. Петр, стоя на лесенке и укрепляя на подножии статую, охватил ее обеими руками, точно обнял.

– Венера в объятиях Марса! – не утерпел – таки умилившись классик Леблон.

– Так хороши они оба, – воскликнула молоденькая фрейлина кронпринцессы Шарлотты, – что я бы, на месте Царицы, приревновала!

Петр был почти такого же нечеловеческого роста, как статуя. И человеческое лицо его оставалось благородным равно с божеским: человек был достоин богини.

Еще в последний раз качнулась она, дрогнула – и стала вдруг неподвижно, прямо, утвердившись на подножии.

То было изваяние Праксителя: Афродита Анадиомена – Пенорожденная, и Урания – Небесная, древняя финикийская Астарта, вавилонская Милитта, Праматерь Пищущего, великая Кормилица – та, что наполнила небо Звездами, как семенами, и разлила, как молоко из груди своей. Млечный Путь.

Она была и здесь все такая же, как на холмах Флоренции, где смотрел на нее ученик Леонардо да Винчи в суеверном ужасе; и как еще раньше, в глубине Каппадокии, близ древнего замка Мацеллума, в опустевшем храме, где молился ей последний поклонник ее, бледный худенький мальчик в темных одеждах, будущий император Юлиан Отступник. Все такая же невинная и сладострастная, нагая и не стыдящаяся наготы своей. С того самого дня, как вышла из тысячелетней могилы своей, там, во Флоренции, шла она все дальше и дальше, из века в век, из народа в народ, нигде не останавливаясь, пока, наконец, в победоносном шествии, не достигла последних пределов земли – Гиперборейской Скифии, за которой уже нет ничего, кроме ночи и хаоса. И утвердившись на подножии, впервые взглянула как будто удивленными и любопытными очами на эту чуждую, новую землю, на эти плоские мшистые топи, на этот странный город, подобный селениям кочующих варваров, на это не денное, не ночное небо, на эти черные, сонные, страшные волны, подобные волнам подземного Стикса. Страна эта не похожа была на ее олимпийскую светлую родину, безнадежна, как страна забвения, как темный Аид. И все-таки богиня улыбнулась вечною улыбкою, как улыбнулось бы солнце, если бы проникло в темный Аид.

Петр Андреич Толстой, по просьбе дам, прочел собственного сочинения вирши «О Купиде», древний анакреонов гимн Эросу:

Некогда в розах Любовь,  
Спящую не усмотрев  
Пчелку, ею ужаленный  
В палец руки, зарыдал,  
И побежав, и взлетев  
К Венус красавице:  
Гину я, мати, сказал,  
Гину, умираю я?  
Змей меня малый кольнул  
С крыльями, коего пахари  
Пчелкой зовут.  
Венус же сыну в ответ:  
Если жало пчельное

Столь тебе болезненно,  
Сколь же, чай, большее тем,  
Коиx ты, дитя, язвишь!

Дамам, которые никаких русских стихов еще не знали, кроме церковных кантов и псалмов, показалась песенка очаровательной.

Она и кстати пришлась, потому что в это самое мгновение Петр собственноручно зажег и пустил вместо первой ракеты фейерверка, летучую машину в виде Купидона с горящим факелом. Скользя по невидимой проволоке, Купидон полетел от галереи к парому на Неве, где стояли щиты «для огненной потехи по плану фитильному», и факелом своим зажег первую аллегорическую – жертвенник из бриллиантовых огней с двумя пылающими рубиновыми сердцами. На одном из них изумрудным огнем выведено было латинское р, на другом – С: Petrus, Catharina. Сердца слились в одно, и появилась надпись: Из двух едино сочиняю. Это означало, что богиня Венус и Купидо благословляют брачный союз Петра с Екатериною.

Появилась другая фигура – прозрачная, светящаяся картина-транспарант с двумя изображениями: на одной стороне – бог Нептун смотрит на только что построенную среди моря крепость Кроншлот – с надписью: Videt stupescit. Видит и удивляется. На другой – Петербург, новый город среди болот и лесов – с надписью: Urbs uBbi silva fuit. Град, где был лес.

Петр, большой любитель фейерверков, всегда сам управлявший всем, объяснял аллегии зрителям.

С грохочущим свистом, снопами огненных колосьев, взвились под самое небо бесчисленные ракеты и в темной вышине рассыпались дождем медленно падавших, таявших, красных, голубых, зеленых, фиолетовых звезд. Нева отразила их и удвоила в своем черном зеркале. Завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, зашипели, запрыгали швермеры; и водяные, и воздушные шары, лопааясь как бомбы, затрещали оглушительным треском.

Открылись пламенные чертоги с горящими столбами, сводами, лестницами – и в ослепительной, как солнце, глубине вспыхнула последняя картина: ваятель, похожий на титана Прометея – перед недоконченною статуей, Которую высекает он резцом и молотом из мраморной глыбы; вверху Всевидящее Око в лучах с надписью Deo iuvante. – С помощью Божией. Каменная глыба означала древнюю Русь; статуя, недоконченная, но уже похожая на богиню Венус – новую Россию; ваятель был Петр.

Картина не совсем удалась: статуя слишком скоро догорела, свалилась к ногам ваятеля, разрушилась. Казалось, он ударял в пустоту. И молот рассыпался, рука поникла. Всевидящее Око померкло, как будто подозрительно прищурилось, зловеще подмигивая.

На это, впрочем, никто не обратил внимания, так как все были заняты новым зрелищем. В клубах дыма, осветленных радугой бенгальских огней, появилось огромное Чудовище, не то конь, не то змей, с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями. Оно плыло по Неве от крепости к Летнему саду. Множество лодок, наполненных гребцами, тащили его на канате. В исполинской раковине на спине чудовища сидел Нептун с длинной белой бородой и трезубцем; у ног его – сирены и тритоны, трубившие в трубы: «тритоны северного Нептуна в трубы свои, по морям шествуя, царя Российского фаму разносят», Славу (лат. fama). объяснил один из зрителей, иеромонах флота Гавриил Бужинский. Чудовище влекло за собою шесть пар пустых, плотно закупоренных бочек с кардиналами Всепутейшего Собора, сидевшими верхом и крепко привязанными, чтобы не упасть в воду, по одному на каждой бочке. Так они плыли гуськом, пара за парой, и звонко дудели в коровьи рога. Далее следовал целый плот из таких же бочек с огромным чаном пива, в котором плавал в деревянном ковше, как в лодке, князь-папа, архиерей бога Бахуса. Сам Бахус тут же сидел на плоском краю чана.

Под звуки торжественной музыки вся эта водяная машина медленно приблизилась к Летнему саду, причалила у средней галереи, и боги вошли в нее.

Нептун оказался царским шутом, старым боярином Семеном Тургеневым; сирены, с длинными рыбьими хвостами, которые волочились, как шлейфы, так что ног почти не видно было, – дворовыми девками; тритоны – конюхами генерал-адмирала Апраксина; сатир или пан, сопровождавший Бахуса, – французским танцмейстером князя Меншикова. Ловкий француз проделывал такие прыжки, что можно было подумать – ноги у него козлиные, как у настоящего фавна. Бахус в тигровой шкуре, в венке из стеклянного винограда, с колбасой в одной руке и штофом в другой, был регент придворных певчих, Конон Карпов, необыкновенно жирный малый с красною рожею. Для большей естественности поили его нещадно три дня, так что, по выражению своих собутыльников, Конон налился как клюква и стал живой Ивашка Хмельницкий.

Боги окружили статую Венеры. Бахус, благоговейно поддерживаемый под руки кардиналами и князем-папою, стал на колени перед статуей, поклонился ей до земли и возгласил громopodobным басом, достойным протодьякона:

– Всечестнейшая мати Венус, смиренный холопка Ивашка-Бахус, от сожженной Семелы рожденный, изжатель виноградного веселья, на сынишку твоего Еремку челом бьет. Не вели ему, Еремке шальному, нас, людей твоих обижать, сердца уязвлять, души погублять. Ей, государыня, смилуйся, пожалуй!

Кардиналы грянули хором: Аминь!

Карпов затынул было с пьяных глаз Достоинно есть яко воистину, но его остановили вовремя.

Князь-папа, дряхлый государев дядька, боярин и стольник царя Алексея, Никита Моисеич Зотов, в шутовской мантии из алого бархата с горностаями, в трехвенечной жестяной тиаре, украшенной непристойным изображением голого Еремки-Эроса, поставил перед подножием Венус на треножник из кухонных вертелов круглый медный таз в котором варили обыкновенно жженку, налил в него водки и зажег. На длинных, гнувшихся от тяжести шестах царские гренадеры принесли огромный ушат перцовки. Кроме лиц духовных, которые здесь так же присутствовали, как и на других подобных шутовских собраниях, все гости, не только кавалеры, но и дамы, даже девицы, должны были по очереди подходить к ушату, принимать от князяпапы большую деревянную ложку с перцовкою и, выпив почти все, несколько оставшихся капель вылить на жертвенник; потом кавалеры целовали Венус, смотря по возрасту, молодые в ручку, старые в ножку; а дамы, кланяясь ей, приседали чинно, с "церемониальным куплиентом. Все это, до последней мелочи заранее обдуманное и назначенное самим государем, исполнялось с точностью, под угрозой «жестокоего штрафа» и даже плетей.

Старая царица Прасковья Федоровна, невестка Петра, вдова брата его, царя Иоанна Алексеевича, тоже пила водку из ушата и кланялась Венере. Она вообще угождала Петру, покаясь всем новшествам: против ветра, мол, не пойдя". Но на этот раз у почтенной старушки в темном, вдовьем шушуне – Петр позволял ей одеваться по-старинному, – когда она приседала «на немецкий манер» перед бесстыжею голою девкою", заскребли-таки на сердце кошки. «В землю бы легла, только бы этого всего не видеть.»– думала она. Царевич тоже с покорностью поцеловал ручку Венус. Михаиле Петрович Аврамов хотел спрятаться; но его отыскали, притащили насильно; в испуге он дрожал, бледнел, корчился, обливался потом чуть в обморок не упал, когда, прикладываясь к бесовой не, почувствовал на губах своих прикосновение холодго мрамора, но исполнил обряд в точности, под строгим взором царя, которого боялся еще больше, чем белых грудей.

Богиня, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служили ей невольно и в самом кощунстве., Шутовской треножник превратился в истинный жертвенник, где в подвижном тонком, как жало змеи, голубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога. И озаренная этим пламенем, богиня улыбалась мудрою улыбкою.

Начался пир. На верхнем конце стола, под навесом из хмеля и брусничника с кочек родимых болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом на бочке, из которой князь-папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вирши, тоже собственного сочинения – перевод Анакреоновой песенки:

Бахус, Зевсово дитя,  
Мыслей гонитель Лией!<sup>1</sup>  
Когда в голову мою  
Войдет, винодавец, он  
Заставит меня плясать:  
И нечто приятное  
Бываю, когда напьюсь;  
Бью в ладоши и пою,  
И тешусь Венерою,  
И непрестанно пляшу.

– Из оных виршей должно признать, – заметил Петр, – что сей Анакреон изрядный был пьяница и прохладного жития человек.

После обычных заздравных чар за процветание российского флота, за государя и государыню, поднялся архимандрит Феодосии Яновский с торжественным видом и стаканом в руках.

Несмотря на выражение польского гонора в лице – он был родом из мелкой польской шляхты, – несмотря на голубую орденскую ленту и алмазную панагию с государевой персоною на одной стороне, с Распятием на другой – на первой было больше алмазов, и они были крупнее, чем на второй, – несмотря на все это, Феодосии, по выражению Аврамова, собою был видом аки изумор, то есть, заморыш или недоносок. Маленький, худенький, востренький, в высочайшем клобуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развешивающимися черными воскрыльями, напоминал он огромную летучую мышь.

Но когда шутил и, в особенности, когда кощунствовал, что постоянно с ним случалось «на подпитках», хитренькие глазки искрились таким язвительным умом, такую дерзкою веселостью, что жалобная мордочка летучей мыши или недоноска становилась почти привлекательной.

– Не ласкательное слово сие, – обратился Феодосий к царю, – но суще из самого сердца говорю: через вашего царского величества дела мы из тьмы неведения на феатр славы, из небытия в бытие произведены и уже в общество политических народов присовокуплены. Ты во всем обновил, государь, или паче вновь родил своих подданных.

Что была Россия прежде и что есть ныне? Посмотрим ли на здания? На место хижин грубых явились палаты светлые, на место хвороста сухого – вертограды цветущие.

Посмотрим ли на градские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фигур на хартиях прежде не видывали...

Долго еще говорил он о книгах судейских, свободных учениях, искусствах, о флоте – «оруженосных сих ковчегах» – об исправлении и обновлении церкви.

– А ты, – воскликнул он в заключение, в риторском жаре взмахнув широкими рукавами рясы, как черными крыльями, и сделавшись еще более похожим на летучую мышь, – а ты, новый, новоцарствующий град Петров, не высокая ли слава еси фундатора твоего? ИВо, где и помысла никому не было о жительстве человеческом, вскоре устроилось место, достойное престола царского. *Urbs ubi amp; silva fuit*. Град, идеже был лес. И кто расположение града сего не похвалит? Не только всю Россию красотою превосходит место, но и в иных европейских

---

<sup>1</sup> Лией (Lyaeus – лат. – «отгоняющий заботы» -поэтическое наименование Бахуса. «приносящий утешение»)

странах подобное обрести не может! На веселом месте создан есть! Воистину, ваше величество, сочинил ты из России самую метаморфозис или претворение!

Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно.

Когда тот говорил о «веселом расположении» Петербурга, глаза его встретились на одно мгновение, как будто нечаянно, с глазами царевича, которому вдруг показалось, или только почудилось, что в глубине этих глаз промелькнула какая-то насмешливая искорка. И вспомнилось ему, как часто при нем, конечно, в отсутствие батюшки, ругая это веселое место, Федоска называл его чертовым болотом и чертовой сторонешкой. Впрочем, давно уже царевичу казалось, что Федоска смеется над батюшкой почти явно, в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никто не замечает, кроме него, Алексея, с которым каждый раз в подобных случаях менялся Федоска быстрым, лукавым, как будто общинческим, взглядом.

Петр, как всегда на церемониальные речи, ответил кратко: – зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, что Господь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем, который Бог нам пред очами кладет.

И, вступив опять в обычный разговор, изложил поголландски, – чтобы иностранцы также могли понять, мысль, которую слышал недавно от философа Лейбница и которая ему очень понравилась – "о коловращении наук": науки и художества родились на Востоке и в Греции; оттуда перешли в Италию, потом во Францию, Германию и, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и наша черед. Через нас вернутся они вновь в Грецию и на Восток, в первоначальную родину, совершив в своем течении полный круг.

– Сия Венус, – заключил Петр уже по-русски, особою, свойственной ему, простодушною витиеватостью, указывая на статую, – сия Венус пришла к нам оттоле, из Греции. Уже Марсовым плугом все у нас испаханно и насеяно. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем. Господи. помози! Да не укуснеет сей плод наш. яко фиников, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия, домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени РОССИЙСКОГО.

– Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский! – закричали все, подымая стаканы с венгерским.

Императорский титул, еще не объявленный ни в Европе, ни даже в России, – здесь, в кругу птенцов Петровых, уже был принят.

В левом дамском крыле галереи раздвинули столы и начали танцы. Военные трубы, гобои, литавры семеновцев и преображенцев, доносясь из-за деревьев Летнего сада, смягченные далью, а, может быть, и очарованием богини – здесь, у ее подножия, звучали, как нежные флейты и виольдамуры в царстве Купидо, где пасутся овечки на мягких лугах, и пастушки развязывают пояс пастушкам. Петр Андреич Толстой, который шел в менюэте с княгиней Черкасскою, напевал ей на ухо своим бархатным голосом под звуки музыки.

Покинь, Купидо, стрелы:  
Уже мы все не целы.  
Но сладко уязвлены  
Любовною стрелою  
Твоею золотою,  
Любви все покоренны

И жеманно приседая перед кавалерами, как того требовал чин менуэта, хорошенькая княгиня отвечала томной улыбкой пастушки Хлои семидесятилетнему юноше Дафнису.

А в темных аллеях, беседках, во всех укромных уголках Летнего сада, слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Богиня Венус уже царила в Гиперборейской Скифии.

Как настоящие скифы и варвары, рассуждали о любовных проказах своих кумушек, фрейлин, придворных мамзелей или даже попросту «девок», государевы денщики и камерпажи в дубовой рощице у Летнего дворца, сидя вдаль от всех, особою кучкою, так что их никто не слышал.

В присутствии женщин они были скромны и застенчивы; но между собою говорили о «бабах» и «девках» со звериным бесстыдством.

– Девка-то Гаментова с Хозяином ночь переспала, равнодушно объявил один.

Гаментова была Марья Вилимовна Гамильтон, фрейлина государыни.

– Хозяин – галант, не может без метресок жить, заметил другой.

– Ей не с первым, – возразил камер-паж, мальчонка лет пятнадцати, с важностью сплевывая и снова затягиваясь трубкою, от которой его тошнило. – Еще до Хозяина-то с Васюхой Машка брюхо сделала.

– И куда только они ребят девают? – удивился первый.

– А муж не знает, где жена гуляет! – ухмыльнулся мальчонка. – Я, братцы, давеча сам из-за кустов видел, как Вилька Монсов с хозяйкой амурился...

Вилим Монс был камер-юнкер государыни – «немец подлой породы», но очень ловкий и красивый.

И подсев ближе друг к другу, шепотом на ухо принялись они сообщать еще более любопытные слухи о том, что недавно, тут же в царском огороде, при чистке засоренных труб одного из фонтанов, найдено мертвое тело младенца, обернутое в дворцовую салфетку.

В Летнем саду был неизбежный по плану для всех французских садов так называемый грот: небольшое четырехугольное здание на берегу речки Фонтанной, снаружи довольно нелепое, напоминавшее голландскую кирку, внутри действительно похожее на подводную пещеру, убранное большими раковинами, перламутром, кораллами, ноздреватыми камнями, со множеством фонтанов и водяных струек, бивших в мраморные чаши, с тем чрезмерным для петербургской сырости обилием Воды, которое любил Петр.

Здесь почтенные старички, сенаторы и сановники беседовали тоже о любви и о женщинах.

– В старину-то было доброе супружество посхименье, а ныне прелюбодеяние за некую галантерию почитается, и сие от самых мужей, которые спокойным сердцем зрят, как жены их с прочими любят, да еще глупцами называют нас, честь поставляющих в месте столь слабом. Дали бабам волю – погодите, ужо всем нам сядут на шею! – ворчал самый древний из старичков.

Старичок помоложе заметил, что «приятно молодым и незаматерелым в древних обычаях людям вольное обхождение с женским полом»; что «ныне страсть любовная, почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать»; что «брак пожинает в один день все цветы, кои амур производил многие лета», и что «ревнование есть лихоманка амура».

– Всегда были красные жены блудливы, – решил старичок из средних. – А у нынешних верченых бабенок в ребрах бесы дома, конечно, построили. Такая уж у них политика, что и слышать не хотят ни о чем кроме амуров.

На них глядя, и маленькие девочки думают, как поамуриться, да не смыслят, бедные: того ради младенческие мины употребляют. О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен!

В грот вошла государыня Екатерина Алексеевна, в сопровождении камер-юнкера Монса и фрейлины Гамильтон, гордой шотландки с лицом Дианы.

Старичок помоложе, видя, что государыня прислушивается к беседе, любезно принял дам под свою защиту.

– Самая истина доказывает нам почтительное свойство рода женского тем, что Бог в заключение всего, в последний день сотворил жену Адамову, точно без того и свету быть несовершенным. Уверяют, что в едином составе тела женского все то собрано, что лучшего и прелестного целый свет в себе имеет. Прибавляя к толиким авантажам красоту разума, можно ли нам их добротам не дивиться, и чем может кавалер извиниться, если должное почтение им не будет оказывать? А ежели и суть со стороны их некоторые нежные слабости, то надлежит помнить, что и нежна есть материя, от которой они взяты...

Старый старичок только головой покачивал. По лицу его видно было, что он по-прежнему думает: «рак не рыба, а баба не человек; баба да бес – один в них вес».

В просвете между разорванных туч, на бездонно-ясном и грустном, золотисто-зеленом небе тонкий серебряный серп новорожденного месяца блеснул и кинул нежный луч в глубину пустынной аллеи, где у фонтана, в полукруге высоких шпалер из подстриженной зелени, под мраморной Помоной, на дерновой скамье сидела одиноко девушка лет семнадцати, в роброне на фижмах из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, с перетянутой в рюмочку талией, с модною прическою Расцветающая Приятность, но с таким русским, простым лицом, что видно было – она еще недавно приехала из деревенского затишья, где росла среди мамушек и нянюшек под соломенной кровлею старинной усадьбы.

Робко оглядываясь, расстегнула она две-три пуговицы платья и проворно вынула спрятанную на груди, свернутую в трубочку, теплую от прикосновения тела, бумажку.

То была любовная цидулка от девятнадцатилетнего двоюродного братца, которого по указу царскому забрали из того же деревенского затишья прямо в Петербург, в навигацкую школу при Адмиралтействе, и на днях отправили на военном фрегате, вместе с другими гардемаринами, не то в Кадикс, не то в Лиссабон – как он сам выражался, – к черту на кулички.

При свете белой ночи и месяца девушка прочла цидулку, нацарапанную по линейкам, крупными и круглыми детскими буквами:

– "Сокровище мое сердешное и ангел Настенька!

Я желал бы знать, почему не прислала ты мне последнего поцелуя. Купидон, вор проклятый, пробил стрелою сердце. Тоска великая – сердце кровавое рудою запеклося".

Здесь между строк нарисовано было кровью вместо чернил сердце, пронзенное двумя стрелами; красные точки обозначали капли крови.

Далее следовали, должно быть, откуда-нибудь списанные вирши:

Вспомни, радость прелюбезна, как мы веселились.  
И приятных разговоров с тобой насладились.  
Уже ныне сколько время не зрю мою радость:  
Прилети, моя голубка, сердечная сладость!  
Если вас сподоблюсь видеть, закричу: ах, светик мой!  
Ты ли, радость, предо мной?..

Прочитав цидулку, Настенька снова так же тщательно свернула ее в трубочку, спрятала под платье на груди, опустила голову и закрыла лицо платочком, надушенным Вздохами Амура.

Когда же отняла его и взглянула на небо, то похожая на чудовище с разинутой пастью, черная туча почти съела тонкий месяц. Последний луч его блеснул в слезинке, повисшей на

реснице девушки. Она смотрела, как месяц исчезал, и напевала чуть слышно единственную знакомую, Бог весть откуда долетевшую к ней, любовную песенку:

Хоть пойду в сады и винограды,  
Не имею в сердце никакой отрады.  
О, коль тягостно голубою без перья летати,  
Столь мне без друга мила тошно пребывати.  
И теперь я, младенька, в слезах унываю,  
Что я друга сердечна давно не выдаю.

Вокруг нее и на ней все было чужое, искусственное – «на Версальский манир»– и фонтан, и Помона, и шпалеры, и фижмы, и роброн из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа Расцветающая Приятность, и духи Вздохи Амура. Только сама она, со своим тихим горем и тихою песней, была простая, русская, точно такая же, как под соломенную кровлею дедовской усадьбы.

А рядом, в темных аллеях и беседках, во всех укромных уголках Летнего сада, по-прежнему слышались шепоты, поцелуи и вздохи любви. И звуки менуэта доносились, как пастушеские флейты и виольдамуры из царства Венус, томным напевом:

Покинь, Купидо, стрелы:  
Уже мы все не целы,  
Но сладко уязвлены  
Любовною стрелою  
Твоею золотою,  
Любви все покорены

В галерее, за царским столом, продолжалась беседа.

Петр говорил с монахами о происхождении эллинского многобожия, недоумевая, как древние греки, «довольное имея понятие об уставах природы и о принципах математических, идолов своих бездушных богами называть и верить в них могли».

Михаиле Петрович Аврамов не вытерпел, сел на своего конька и пустился доказывать, что боги существуют, и что мнимые боги суть подлинные бесы.

– Ты говоришь о них так, – удивился Петр, – как будто сам их видел.

– Не я, а другие, точно, их видели, ваше величество, собственными глазами видели! – воскликнул Аврамов.

Он вынул из кармана толстый кожаный бумажник, порылся в нем, достал две пожелтевшие вырезки из голландских курантов и стал читать, переводя на русский язык:

«Из Гишпании уведомляют: некоторый иностранный человек привез с собою в Барселону-град Сатира, мужика в шерсти, как в еловой коре, с козьими рогами и копытами. Ест хлеб и молоко и ничего не говорит, а только блеет по-козьиному. Которая уродливая фигура привлекает много зрителей».

Во второй реляции было сказано:

"В Ютландии рыбаки поймали Сирену, или морскую женщину. Оное морское чудовище походит сверху на человека, а снизу на рыбу; цвет на теле желто-бледный; глаза затворены; на голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожей так, как гусиные лапы. Рыбаки

вытащили сеть на берег с великим трудом, причем всю изорвали. И сделали тутошние жители чрезвычайную бочку и налили соленую водою, и морскую женщину туда посадили: таким образом надеются беречь от согнития. Сие в ведомость внесено потому, что, хотя о чудах морских многие фавулы бывали, а сие за истину уверить можно, что оное морское чудовище, так удивительное, поймано.

Из Роттердама, 27 апреля 1714 года".

Печатаному верили, а в особенности иностранным ведомостям, ибо, если и за морем врут, то где ж правду искать? Многие из присутствующих верили в русалок, водяных, леших, домовых, кикимор, оборотней и не только верили, но и видели их, тоже собственными глазами. А ежели есть лешие, то почему бы не быть и сатирам? Ежели есть русалки, почему бы не быть морским женщинам с рыбьими хвостами? Но тогда, ведь, и прочие и даже эта самая Венус, может быть, действительно существуют?

Все умолкли, притихли – и в этой тишине пронеслось что-то жуткое – как будто все вдруг смутно почувствовали, что делают то, чего не должно делать.

Все ниже, все чернее опускалось небо, покрытое тучами. Все ярче вспыхивали голубые зарницы, или безгромные молнии. И казалось, что в этих " пышках на темном небе отражаются точно такие же вспышки голубоватого пламени на жертвеннике, все еще горевшем перед подножием статуи; или – что в самом этом темном небе, как в опрокинутой чаше исполинского жертвенника, скрыто за тучами, как за черными углями, голубое пламя и, порой вырываясь оттуда, вспыхивает молниями. И пламя небес, И пламя жертвенника, отвечая друг другу, как будто вели разговор о грозной, неведомой людям, но уже на земле и на небе совершающейся тайне.

Царевич, сидевший недалеко от статуи, в первый раз взглянул на нее пристально, после чтения курантных выдержек. И белое голое тело богини показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то видел его и даже больше, чем видел: как будто этот девственный изгиб спины и эти ямочки у плеч снились ему в самых грешных страстных, тайных снах, которых он перед самим собой стыдился. Вдруг вспомнил, что точно такой же изгиб спины, точно такие же ямочки плеч он видел на теле своей любовницы, дворовой девки Евфросиньи. Голова у него кружилась, должно быть, от вина, от жары, от духоты – и от всего этого чудовищного праздника, похожего на бред. Он еще раз взглянул на статую, и это белое голое тело в двойном освещении – от красных дымных плоскостей иллюминации и от голубого пламени на треножнике – показалось ему таким живым, страшным и соблазнительным, что он потупил глаза. Неужели и ему, как Аврамову, богиня Венус когда-нибудь явится ужасающим и отвратительным оборотнем, дворовою девкою Афросьюкою? Он сотворил мысленно крестное знамение.

– Не диво, что эллины, закона христианского не знавшие, поклонялись идолам бездушным, – возобновил Федоска прерванную чтением беседу, – а диво то, что мы, христиане, истинного иконопочитания не разумея, поклоняемся иконам суще как идолам!

Начался один из тех разговоров, которые так любил Петр – о всяких ложных чудесах и знамениях, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, юродивых, о «бабьих баснях и мужичьих забобонах длинных бород», то есть, о суевериях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей все эти давно известные и опостылевшие рассказы: о привезенной монахами из Иерусалима в дар Екатерине Алексеевне нетленной, будто бы, и на огне не горевшей срачице. Пресвятой Богородицы, которая по исследовании оказалась сотканной из волокон' особой несгораемой ткани – аммианта; о натуральных мощах Лифляндской девицы фон-Грот: кожа этих мощей «была подобна выделанной, натянутой свиной, и будучи пальцем вдавлена, расправлялась весьма упруго»; о других-поддельных, из слоновой кости, мощах, которые Петр Белел отправить в новоучрежденную петербургскую Кунсткамеру, как памятник «суперстиции, ныне уже духовных тщанием истребляемой».

– Да много в церкви российской о чудесах наплутано– как будто сокрушенно, на Самом деле злорадно заметил Федора и упомянул о последнем ложном чуде: в одной бедной церкви на Петербургской стороне объявилась икона Божией Матери, которая источала слезы,-Предрекая, будто бы, великие бедствия и даже конечное разорение новому городу. Петр, услышав об ЭТом от Федоски, немедленно поехал в ту церковь, осмотрел икону и обнаружил обман. Это случилось недавно: в Кунсткамеру не успели еще отправить икону, и она пока хранилась у государя в Летнем дворце, небольшом голландском домике, тут же в саду, в двух шагах от галереи, на углу Невы и Фонтанной. – Царь, желая показать ее собеседникам, велел одному из денщиков принести икону.

Когда посланный вернулся, Петр встал из-за стола, вышел на небольшую площадку перед статуей Венус, где было просторнее, прислонился спиной к мраморному подножию и, держа в руках образ, начал подробно и тщательно объяснять «плутовскую механику». Все окружили его, точно так же теснясь, приподымаясь на цыпочки, с любопытством заглядывая Друг другу через плечи и головы как давеча, когда откупоривали ящик со статуей.

Федоска держал свечу.

Икона была древняя. Лик темный, почти черный; только большие, скорбные, будто немного припухшие от слез глаза, смотрели как живые. Царевич с детства любил и чтил этот образ – Божией Матери Всех Скорбящих Радости.

Петр снял серебряную, усыпанную драгоценными камнями ризу, которая едва держалась, потому что была уже оторвана при первом осмотре. Потом отвинтил новые медные винтики, которыми прикреплялась к исподней стороне иконы тоже новая липовая дощечка; посередине вставлена была в нее другая, меньшая; она свободно ходила на пружинке, уступая и вдавливаясь под самым легким нажимом руки. Сняв обе дощечки, он показал две лунки или ямочки, выдолбленные в дереве против глаз Богоматери. Грецкие губочки, напитанные водою, клались в эти лунки, и вода просачивалась сквозь едва заметные просверленные в глазах дырочки, образуя капли, похожие на слезы.

Для большей ясности Петр тут же сделал опыт: он помочил водою губочки, вложил их в лунки, надавил дощечку – и слезы потекли.

– Вот источник чудотворных слез, – сказал Петр. Нехитрая механика!

Лицо его было спокойно, как будто объяснил он любопытную «игру природы», или другую диковинку в Кунсткамере.

– Да, много наплутано!.. – повторил Федоска с тихою усмешкою.

Все молчали. Кто-то глухо простонал, должно быть пьяный, во сне; кто-то хихикнул так странно и неожиданно, что на него оглянулись почти с испугом.

Алексей давно порывался уйти. Но оцепенение нашло на него, как в бреду, когда человек порывается бежать, и ноги не двигаются, хочет крикнуть, и голоса нет. В этом оцепенении стоял он и смотрел, как Федоска держит свечу, как по дереву иконы проворно копошатся, шевелятся ловкие руки Петра, как слезы текут по скорбному Лику, а над всем белеет голое страшное и соблазнительное тело Венус. Он смотрел – и тоска, подобная смертельной тошноте, подступала к сердцу его, сжимала горло. И ему казалось, что это никогда не кончится, что это все было, есть и будет в вечности.

Вдруг ослепляющая молния сверкнула, как будто разверзлась над головой их огненная бездна. И сквозь стеклянный купол облил мраморную статую нестерпимый, белый, белее солнца, пламенеющий свет. Почти в то же мгновение раздался короткий, но такой оглушительный треск, как будто свод неба распался и рушился.

Наступила тьма, после блеска молнии непроницаемочерная, как тьма подземелья. И тотчас в этой черноте завывла, засвистела, загрохотала буря, с вихрем, подобным урагану, с хлещущим дождем и градом.

В галерее все смешалось. Слышались пронзительные визги женщин. Одна из них в припадке кликала и плакала, точно смеялась. Обезумевшие люди бежали, сами не зная куда, сталкивались, падали, давили друг друга. Кто-то вопил отчаянным воплем: «Никола Чудотворец!.. Пресвятая Матерь Богородица!.. Помилуй!..» Петр, выронив икону из рук, бросился отыскивать царицу.

Пламя опрокинутого треножника, потухая, вспыхнуло в последний раз огромным, раздвоенным, как жало змеи, голубым языком и озарило лицо богини. Среди бури, мрака и ужаса оно одно было спокойно.

Кто-то наступил на икону. Алексей, наклонившийся, чтобы поднять ее, услышал, как дерево хрустнуло. Икона раскололась пополам.

## КНИГА ВТОРАЯ АНТИХРИСТ

Древян гроб сосновен  
Ради меня строен.  
Буду в нем лежати,  
Трубна гласа ждати.

То была песня раскольников – гробополагателей.

«Через семь тысяч лет от создания мира, говорили они, второе пришествие Христово будет, а ежели не будет, то мы и самое Евангелие сождем, прочим же книгам и верить нечего». И покидали дома, земли, скот, имущество, каждую ночь уходили в поля и леса, одевались в чистые белые рубахи-саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и, сами себя отпевая, с минуты на минуту ожидая трубного гласа - "встречали Христа".

Против мыса, образуемого Новою и Малою Невкою, в самом широком месте реки, у Гагаринских пеньковых буянов, среди других плотов, барок, стругов и карбусов, стояли дубовые плоты царевича Алексея, сплавленные из Нижегородского края в Петербург для Адмиралтейской верфи. В ночь праздника Венеры в Летнем саду, сидел на одном из этих плотов у руля старый лодочникбурлак, в драном овчинном тулупе, несмотря на жаркую пору, и в лаптях. Звали его Иванушкой-дурачком, считали блаженным или помешанным. Уже тридцать лет, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, каждую ночь до «петелева глашения» – крика петуха, он бодрствовал, встречая Христа, и пел все одну и ту же песню гробополагателей. Сидя над самою водою на скользких бревнах, согнувшись, подняв колени, охватив их руками, смотрел он с ожиданием на зиявшие меж черных разорванных туч просветы золотисто-зеленого неба. Неподвижный взор его из-под спутанных седых волос, неподвижное лицо полны были ужасом и надеждою. Медленно пока чиваясь из стороны в сторону, он пел протяжным, заунывным голосом:

Древян гроб сосновен  
Ради меня строен.  
Буду в нем лежати,  
Трубна гласа ждати.  
Ангелы вострубят,  
Из гробов возбудят,  
Пойду к Богу на суд.  
К Богу две дороги,  
Широки и долги.  
Одна-то дорога -  
Во царство небесно,  
Другая дорога -  
Во тьму кромешну.

– Иванушка, ступай ужинать! – крикнули ему с другого конца плота, где горел костер на сложенных камнях, подобии очага, с подвешенным на трех палках чугунным котелком, в котором варилась уха. Иванушка не слышал и продолжал петь.

У огня сидели кругом, беседуя, кроме бурлаков и лодочников, раскольничий старец Корнилий, проповедник самосожжения, шедший с Поморья в леса Керженские за Волгой; ученик его, беглый московский школяр Тихон Запольский; беглый астраханский пушкарь Алексей Семисаженный; беглый матрос адмиралтейского ведомства, конопатчик Иван Иванов сын Будлов; подьячий Ларион Докукин; старица Виталия из толка бегунов, которая, по собственному выражению, житие птичье имела, вечно странствовала – оттого, будто бы, и прозывалась Виталией, что «привитала» всюду, нигде не останавливаясь; ее неразлучная спутница Киликея Босая, кликуша, у которой было «дьявольское наваждение в утробе», и другие, всякого чина и звания, «утаенные люди», бежавшие от несносных податей, солдатской рекрутчины, шпицрутенов, каторги, рваньи ноздрей, брадобритья, двуперстного сложения и прочего «страха антихристов».

– Тоска на меня напала великая! – говорила Виталия, старушка еще бодрая и бойкая, вся сморщенная, но румяная, как осеннее яблочко, в темном платке в роспуск. А о чем тоска – и сама не знаю. Дни такие сумрачные, и солнце будто не по-прежнему светит.

– Последнее время, плачевное: антихристов страх возвел на мир, оттого и тоска, – объяснил Корнилий, худенький старичок с обыкновенным мужичьим лицом, рябой и как будто подслеповатый, а в самом деле – с пронзительно-острыми, точно сверлящими, глазками; на нем был раскольничий каптырь вроде монашеского куколя, черный порыжелый подрясник, кожаный пояс с ременною лестовкою; при каждом движении тихо звякали вериги, вьезшиеся в тело – трехпудовая цепь из чугунных крестов.

– Я и то смекаю, отче Корнилий, – продолжала странница, – никак-де ныне остаточные веки. Немного свету жить, говорят: в пол-пол-осьмой тысяче конец будет?

– Нет, – возразил старец с уверенностью, – и того не достанет...

– Господи помилуй! – тяжело вздохнул кто-то. Бог знает, а мы только знаем, что Господи помилуй!

И все умолкли. Тучи закрыли просвет, небо и Нева потемнели. Ярче стали вспыхивать зарницы, и каждый раз в их бледно-голубом сиянии бледно-золотая, тонкая игла Петропавловской крепости сверкала, отражаясь в Неве. Чернели каменные бастионы и плоские, точно вдавленные, берега с тоже плоскими, мазанковыми зданиями товарных складов, пеньковых амбаров и гарнизонных цейхгаузов. Вдали, на другом берегу, сквозь деревья Летнего сада, мелькали огоньки иллюминации. С острова Кейвусари. Березового, веяло последним дыханием поздней весны, запахом ели, берез и осин. Маленькая кучка людей на плоском, едва черневшем плоту, озаренная красным пламенем, между черными грозowymi тучами и черною гладью реки, казалась одинокою и потерянною, висящею в воздухе между двумя небесами, двумя безднами.

Когда все умолкли, сделалось так тихо, что слышно было сонное журчание струй под бревнами и с другого конца явственно по воде доносившаяся, все одна и та же, унылая песня Иванушки:

Древян гроб сосновен  
Ради меня строен.  
Буду в нем лежати,  
Трубна гласа ждати.

– А что, соколики, – начала Киликея-кликуша, еще молодая женщина с нежно прозрачным, точно восковым, лицом и с отморозенными – она ходила всегда босая, даже в самую лютую стужу – черными, страшными ногами, похожими на корни старого дерева, – а что, правда ли, слыхала я давеча, здесь же, в Питербурхе, на Обжорном рынке: государя-де ныне на Руси нет, а который и есть государь – и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, немец сын, либо швед обменный?

– Не швед, не немец, а жид проклятый из колена Данова, – объявил старец Корнилий.

– О, Господи, Господи! – опять тяжело вздохнул кто-то, – видишь, роды-де– их царские пошли неистовые.

Заспорили, кто Петр – немец, швед или жид?

– А черт: его знает, кто он такой! Ведьма ли его в ступе высидела, от банной ли мокроты завелся, а только знатно, что оборотень, – решил беглый матрос Будлов, парень лет тридцати, с трезвым и деловитым выражением умного лица, должно быть, когда-то красивого, но обезображенного черным каторжным клеймом на лбу и рваными ноздрями.

– Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю, – подхватила Виталия. – Слыхала я о том на Керженце от старицы бродящей нищей, да крылошанки Вознесенского монастыря в Москве о том же сказывали точно: как-де был наш царь благочестивый Петр Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям, и был в Стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит девица, и та девица, над государем ругаючись, ставила его на горячую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила.

– Нет, не в бочку, – поправил кто-то, – а в столп закладен.

– Ну, в столп ли, в бочку ли, только пропал без вести – ни слуху, ни духу. А на место его явился оттуда же, из-за моря, некий жидовин проклятый из колена Данова, от нечистой девицы рожденный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал, – и все стал творить по-жидовски: у патриарха благословения не принял; к мощам московских чудотворцев не пошел, потомуде знал – сила Господня не допустит его, окаянного, до места свята; и гробам прежних благочестивых царей не поклонился, для того что они ему чужи и весьма ненавистны. Никого из царского рода, ни царицы, ни царевича, ни царевен не видал, боясь, что они обличат его, скажут ему, окаянному: «ты не наш, ты не царь, а жид проклятый». Народу в день новолетия не показался, чая себе обличения, как и Гришке Расстриге обличение народное было, и во всем по-расстригиному поступает: святых постов не содержит, в церковь не ходит, в бане каждую субботу не моется, живет блудно с погаными немцами заедино, и ныне на Московском государстве немец стал велик человек: самый ледащий немец теперь выше боярина и самого патриарха. Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно пляшет; пьет вино не во славу Божию, а некако нелепо и безобразно, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве: своих же пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая, велегласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской.

– И се, прореченная Даниилом пророком, стала мерзость запустения на месте свята! – dokonчил старец Корнилий.

Послышались разные голоса в толпе:

– И царица-де Авдотья Федоровна, в Суздале заточенная, сказывает: крепитесь, мол, держите веру христианскую – это-де не мой царь, иной вышел.

– Он и царевича приводит в свое состояние, да тот его не слушает. И царь-де его за то извести хочет, чтоб ему не царствовать.

– О, Господи, Господи! Видишь, какую планиду Бог наслал, что отец на сына, а сын на отца.

– Какой он ему отец! Сам царевич говорит, что сей не батюшка мне и не царь.

– Государь немцев любит, а царевич немцев не любит: дай мне, говорит, сроку, я-де их подберу. Приходил к нему немчин, сказывал неведомо какие слова, и царевич на нем платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал: для чего вы к нему ходите? Покамест я жив, покамест и вы.

– Это так! Все в народе говорят: как-де будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович, тогда-де государь наш Петр Алексеевич убирайся и прочие с ним!

– Истинно, истинно так!-подтверждали радостные голоса. – Он, царевич, душой о старине горит.

Человек богоискательный!

– Надежда российская!..

– Много басен бабьих нынче ходит в народе: всему верить нельзя,-заговорил Иван Будлов, и все невольно прислушались к его спокойной деловитой речи. А я опять скажу: швед ли, немец ли, жид, – черт его знает, кто он таков, а только и впрямь, как его Бог на царство послал, так мы и светлых дней не видали, тягота на мир, отдыху нет. Хоть бы нашего брата служивого взять: пятнадцать лет, как со шведом воюем, нигде худо не сделали и кровь свою, не жалеючи, проливали, а и поныне себе не видим покою; через меру лето и осень ходим по морю, на камнях зимуем, с голоду и холоду помираем.

А государство свое все разорил, что в иных местах не сыщешь и овцы у мужика. Говорят: умная голова, умная голова! Коли б умная голова, – мог бы такую человеческую нужду рассудить. Где мы мудрость его видим? Выдал штуку в гражданских правах, учинил Сенат. Что прибыли?

Только жалованья берут много. А спросил бы у челобитчиков, решили ль хоть одному безволокидно, прямо.

Да что говорить!.. Всему народу чинится наглость. Так приводит, чтобы из наших душ не было ни малого христианства, последние животы выматывает. Как Бог терпит за такое немилосердие? Ну, да это дело даром не пройдет, быть обороту: в долге ль, в коротко ль, отольется кровь на главы их!

Вдруг одна из слушательниц, доселе безмолвная, баба Алена Ефимова, с очень простым, добрым лицом, заступилась за царя.

– Мы как и сказать не знаем, – проговорила она тихо, точно про себя, – а только молим: обрати Господи царя в нашу христианскую веру!

Но раздались негодующие голоса;

– Какой он царь? Царишка! Измотался весь. Ходит без памяти.

– Ожидовел, и жить без того не может, чтобы крови не пить. В который день крови изопьет, в тот день и весел, а в который не изопьет, то и хлеб ему не естся!

– Мироед! Весь мир переел, только на него, кутилку, переводу нет.

– Чтоб ему сквозь землю провалиться!

– Дураки вы, собачьи дети! – крикнул вдруг с яростью пушкарь Алексей Семисаженный, огромного роста рыжий детина, не то со зверским, не то с детским лицом. – Дураки вы, что за свои головы не умеете стоять!

Ведь вы все пропали душою и телом: порубят вас что червей капустных. Взял бы я его, да в мелкие части изрезал и тело его истерзал!

Алена Ефимова только слабо охнула и перекрестилась; от этих слов, признавалась она впоследствии, ее в огонь бросило. И прочие оглянулись на Семисаженного со страхом. А он уставился в одну точку глазами, налитыми кровью, крепко сжал кулаки, и прибавил тихо, как будто задумчиво, но в этой тишине было что-то еще более страшное, чем ярость:

– Дивлюсь я тому, как его по ся мест не уходят. Ездит рано и поздно по ночам малолетством. Можно бы его изрезать ножей в пять.

Алена вся побледнела, хотела что-то сказать, но только беззвучно пошевелила губами.

– Царя трижды хотели убить, – покачал головою старец Корнилий, – да не убьют: ходят за ним бесы и его берегут.

Крошечный белобрысый солдатик с придурковатым, испытанным и болезненным личиком, совсем еще молоденький мальчик, беглый даточный рекрут Петька Жизла, заговорил, торопясь, заикаясь, путаясь и жалобно, поребячьи всхлипывая: «Ох, братики, братики!» Он сообщил, что привезены из-за моря на трех кораблях клейма, чем людей клеймить, никому их не

показывают, за крепким караулом держат на Котлине острове, и солдаты стоят при них бес-  
сменно.

То были введенные по указу Петра особые рекрутские знаки, о которых в 1712 году писал  
царь генералу пленнопотенциарию князю Якову Долгорукову: «А для знаку рекрутам значит –  
на левой руке накалывать иглою кресты и натирать порохом».

– Кого припечатают, тому и хлеба дадут, а на ком печатей нет, тому хлеба давать не будут,  
помирай с голоду. Ох, братики, братики, страшное дело!..

– Все тесноты ради пищной приидут к сыну погибели и поклонятся ему, – подтвердил  
старец Корнилий.

– А иных уже заклеямили, – продолжал Петька. И меня, ведь, ох, братики, братики, и  
меня, окаянного...

Он с трудом поднял правую рукою бессильно, как плеть висевшую, левую, поднес ее к  
свету и показал на ней сверху, между большим и указательным пальцем, рекрутское клеймо,  
выбитое железными иглами казенного штампа.

– Как припечатали, рука сохнуть стала. И высохла.

Сперва левая, а потом и правая: хочу крест положить – не подымается...

Все со страхом разглядывали на желто-бледной коже высохшей, как будто мертвой, руки  
небольшое, точно из оспенных язвенок, темное пятно. Это было человеческое клеймо, казенный  
черный крест.

– Она самая и есть, – решил старец Корнилий, печать антихристовая! Сказано: даст им  
знаменье на руке, и кто примет печать его, тот власти не имеет осенять уды свои крестным  
знаменьем, но связана рука его будет не узами, а клятвою – и таковым нет покаяния.

– Ох, братики, братики! Что они со мной сделали!..

Когда б я знал, не дался бы им в руки живой. Человека испортили, как скотину тавром  
заклеямили, припечата ли!.. – судорожно всхлипывал Петька, и крупные слезы текли по ребя-  
чьему, жалобному личику.

– Батюшки родимые! – всплеснула руками Киликеякликуша, как будто пораженная вне-  
запную мысль, ведь все, все к одному выходит: царь-то Петр и есть...

Она не кончила, на губах ее замерло страшное слово.

– А ты что думала? – посмотрел на нее острыми, точно сверлящими, глазками старец  
Корнилий. – Он самый и есть...

– Нет, не бойтесь. Самого еще не бывало. Разве предтеча его... – пытался было возразить  
Докукин.

Но Корнилий встал во весь рост, цепь из чугуновых крестов на нем звякнула, поднял  
руку, сложил ее в двуперстное знаменье и воскликнул торжественно:

– Внимайте, православные, кто царствует, кто обладает вами с лета 1666, числа звери-  
ного. Вначале царь Алексей Михайлович с патриархом Никоном от веры отступил и был пред-  
течею Зверю, а по ним царь Петр благочестие до конца искоренил, патриарху быть не велел и  
всю церковную и Божью власть восхитил на себя и возвысился против Господа нашего, Иисуса  
Христа, сам единою безглавною главою церкви учинился, самовластным пастырем. И первен-  
ству Христа ревнуя, о коем сказано:

Аз есмь первый и последний, именовал себя: Петр Первый. И в 1700 году, Января в  
первый день, новолетие ветхо-римского бога Януса в огненной потехе на щите объявил: се,  
ныне время мое пришло. И в кануне церковного пения о Полтавской над Шведами победе  
Христом себя именует. И на встречах своих, в прибытиях в Москву, в триумфальных воро-  
тах и шествиях, отрочат малых в белые подстихари наряжал и прославлял себя и петь повеле-  
вал: Благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних! Бог Господь явился нам – как  
изволением Божиим дети еврейские на вход в Иерусалим хвалу Господу нашему, Иисусу Хри-  
сту, Сыну Божию пели. И так титулами своими превознесся паче всякого глаголемого Бога. По

предреченному: во имя Симана Петра имеет в Риме быть гордый князь мира сего. Антихрист, в России, сиречь в Третьем Риме, и явился оный Петр, сын погибели, хульник и противник Божий, еже есть Антихрист. И как писано: во всем хочет льстец уподобиться Сыну Божию, так и оный льстец, сам о себе хвалясь, говорит: я сирым отец, я странствующим пристанище, я бедствующим помощник, я обидимым избавитель; для недужных и престарелых учредил гошпитали, для малолетних – училища; неполитичный народ Российский в краткое время сделал политичным и во всех знаниях равным народам Европейским; государство распространил, восхищенное возвратил, рассыпанное восставил, униженное прославил, ветхое обновил, спящих в неведении возбудил, не сущее создал. Я – благ, я – кроток, я – милостив. Придите все и поклонитесь мне, Богу живому и сильному, ибо я – Бог, иного же Бога нет, кроме меня! Так возлицемерствовал благостыню сей Зверь, о коем сказано: Зверь тот страшен и ни единому подобен; так под шкурою овчею скрылся лютый волк, да всех уловит и пожрет. Внимайте же, православные, слову пророческому: изыдите, изыдите, люди мои из Вавилона! Спасайтесь, ибо нет во градах живущим спасения, бегите, гонимые, верные, настоящего града не имеющие, грядущего взыскающие, бегите в леса и пустыни, скройте главы ваши под перст, в горы и вертепы, и пропасти земные, ибо сами вы видите, братия, что на громаде всей злобы стоим – сам точный Антихрист наступил, и на нем век сей кончается. Аминь!

Он умолк. Ослепляющая зарница или молния вдруг осветила его с ног до головы; и тем, кто смотрел на него, в этом блеске маленький старичок показался великаном; и отзвук глухого, точно подземного, грома – отзвуком слов его, наполнивших небо и землю. Он умолк, и все молчали. Сделалось опять так тихо, что слышно было только сонное журчание струй под бревнами и с другого конца плота протяжная, заунывная песня Иванушки:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые,  
Всем есте, гробы, домовища вечные.  
День к вечеру приближается,  
Секира лежит при корени,  
Приходят времена последние.

И от этой песни еще глубже и грознее становилась тишина.

Вдруг с грохочущим свистом взвилась ракета и в темной вышине рассыпалась дождем радужных звезд; Нева, отразив их, удвоила в своем черном зеркале – и запыхал фейерверк. Загорелись щиты с прозрачными картинками, завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, и открылись чертоги, подобные храму, из белого, как солнце пламени. С галереи над Невую, где уже стояла Венус, Явственно по чуткой глади воды донесся крик пирующих:

«Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский!»-и загремела музыка.

– Се, братья, последнее совершается знаменье! воскликнул старец Корнилий, указывая протянутою рукою на фейерверк. – Как св. Ипполит свидетельствует: восхвалят его. Антихриста, неисповедимыми песнями и гласами многими и воплем крепким. И свет, паче всякого света, облистает его, тьмы начальника. День во тьму претворит и ночь в день, и луну и солнце в кровь, и сведет огонь с небеси...

Внутри пылающих чертогов появился облик Петра, ваятеля России, подобного титану Прометею.

– И поклонятся ему все, – заключил старец, – и воскликнут: Виват! Виват! Виват! Кто подобен Зверю сему?

И кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с небеси!

Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилось в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшее по Неве от Петропавловской кре-

пости к Летнему саду, морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями, – им почудилось, что это и есть предреченный в Откровении Зверь, выходящий из бездны. С минуты на минуту ждали они, что увидят идущего к ним по воде «немокрыми стопами», или по воздуху в громах и молниях на огненных крыльях, с несметною ратью бесовскою, летящего Антихриста.

– Ох, братики, братики! – всхлипывал Петька, дрожа, как лист, и стуча зубами. – Страшно... говорим о нем, а нет ли его самого здесь, поблизости? Видите, какое смятение и между нами...

– Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Осиновый кол ему в горло и делу конец!.. – начал было храбриться Семисаженный, но тоже побледнел и задрожал, когда сидевшая с ним рядом Киликея-кликуша вдруг пронзительно взвизгнула, упала навзничь, забилась в корчах и начала кликать.

Киликею испортили в детстве. Однажды, она рассказывала, мачеха налила ей щей в ставец, подала есть и притом избрала: трескай-де, черт с тобою! – и после того времени в третью неделю она, Киликея, занемогла и услышала, что в утробе у нее стало ворчать явственно, как щенком; и то ворчанье все слышали; и подлинно-де у нее в утробе – дьявольское наваждение, и человеческим языком и звериными голосами вслух говорит. Ее сажали за караул, по указу царя о кликушах, судили, допрашивали, били батогами, плетью. Она давала обещания с порукою и распискою, что «впредь кликать не будет, под страхом жестокого штрафования кнутом и ссылки на прядильный двор в работу вечно». Но плети не могли изгнать беса, и она продолжала кликать.

Киликея приговаривала: «ох, тошно, тошно!..» и смеялась, и плакала, и лаяла собакою, блеяла овцою, квакала лягушкою, хрюкала свиньею и разными другими голосами кликала.

Жившая на плоту сторожевая собака, разбуженная всеми этими необычайными звуками, вылезла из конуры. Это была голодная тощая сука с ввалившимися боками и торчавшими ребрами. Она остановилась над водою, рядом с Иванушкою, который продолжал петь, как будто ничего не видя и не слыша, – и с поднятою кверху мордою, с поджатым между ногами хвостом, жалобно завывала на огонь фейерверка. Вой суки сливался с воем кликуши в один страшный звук.

Киликею отливали водою. Старец, наклонившись над нею, читал заклятия на изгнание бесов, дую, плюя и ударяя ее по лицу ременною лестовкою. Наконец она затихла и заснула мертвым сном, подобным обмороку.

Фейерверк потух. Угли костра на плоту едва тлели.

Наступила тьма. Ничего не случилось. Антихрист не пришел. Ужаса не было. Но тоска напала на них, ужаснее всех ужасов. По-прежнему сидели они на плоском плоту, едва черневшем между черным небом и черною водою, Маленькою кучкою, одинокою, потерянною, как будто повисшею в воздухе между двумя небесами. Все было спокойно. Плот неподвижен. Но им казалось, что они стремглав летят, проваливаются в эту тьму, как в черную бездну – в пасть самого Зверя, к неизбежному концу всего.

И в этой черной, жаркой тьме, под голубым трепетаньем зарниц, доносились из Летнего сада нежные звуки менуэта, как томные вздохи любви из царства Венус, где Пастушонок Дафнис развязывает пояс пастушке Хлое:

Покинь, Купидо, стрелы:  
Уже мы все не целы,  
Но сладко уязвлены  
Любовною стрелою  
Твоею золотою.

На Неве, рядом с плотами царевича, стояла большая, пригнанная из Архангельска, с холмогорскою глиняною посудой, барка. Хозяин ее, богатый купец Пушников из раскольников-поморцев, укрывал у себя беглых, потаенных людей старого благочестия. В корме под палубой были крошечные досчатые каморки, вроде чуланов.

В одной из них приютилась баба Алена Ефимова.

Алена была крестьянкою, женою московского денежного мастера Максима Еремеева, тайного иконоборца. Когда сожгли Фомку-цирюльника, главного учителя иконоборцев, Еремеев бежал в Низовые города, покинув жену.

Сама она была не то раскошница, не то православная; крестилась двуперстным сложением, по внушению некоего старца, который являлся к ней и говаривал: «трехперстным сложением не умолишь Бога»; но ходила в православные церкви и у православных духовников исповедовалась. Несмотря на страшные слухи о Петре, верила, что он подлинно русский царь, и любила его. Просила у Бога, чтоб ей видеть его царского величества очи. И в Петербург приехала, чтобы видеть государя. Ее преследовала мысль: умолить Бога за царя Петра Алексеича, чтобы он покаялся, вернулся к вере отцов своих, прекратил гонения на людей старого благочестия, чтобы и те, в свою очередь, соединились с православною церковью. Алена сочинила особую молитву, дабы различие вер соединено было, и хотела ту молитву объявить отцу духовному, но не посмела, «затем что написано плохо». Она ходила по монастырям; нанимала в Вознесенском, в церкви Казанской Божьей Матери, старицу на шесть недель читать акафист за царя; сама клала за него в день по две, по три тысячи поклонов. Но всего этого казалось ей мало, и она придумала последнее отчаянное средство: велела своему племяннику, четырнадцатилетнему мальчику Васе написать сочиненную ею молитву о царе Петре Алексеиче и о соединении вер, устроила пелену под образ, зашила ту молитву в подкладку и отдала в Успенский собор попу, не объявляя о скрытом письме.

После разговора на плоту Алена вернулась в келью свою на барке Пушникова, и когда вспомнила все, что слыхала в ту ночь о государе, первый раз в жизни напало на нее сомнение: не истинно ли то, что говорят о царе, и можно ли умолить Бога за такого царя?

Долго лежала она в душевной темноте чулана, с широко открытыми глазами, обливаясь холодным потом, неподвижная. Наконец встала, засветила маленький огарок желтого воска, поставила его в углу каморки перед висевшею на досчатой перегородке иконою Божьей Матери Всех Скорбящих, такую же, как та, которую показывал царь Петр у подножия Венус, опустилась на колени, положила триста поклонов и начала молиться со слезами, с воздыханиями, отчаянною молитвою, тою самою, что была зашита в пелене под образом Успенского собора:

– Услышь, святая соборная церковь, со всем херувимским и серафимским престолом, с пророками и праотцами, угодниками и мучениками, и с Евангелием, и сколько в том Евангелии слов святых – все вспомните о нашем царе Петре Алексеиче! Услышь, святая соборная апостольская церковь, со всеми местными иконами и честными мелкими образами, со всеми апостольскими книгами и с лампадами, и с паникадилами, и с местными свечами, и со святыми пеленами, и с черными ризами, с каменными стенами и железными плитами, со всякими плодоносными деревьями и цветами! О, молю и прекрасное солнце: возмолись Царю Небесному о царе Петре Алексеиче! О, млад светел месяц со звездами! О, небо с облаками! О, грозные тучи с буйными ветрами и вихрями!

О, птицы небесные! О, синее море с великими реками и с мелкими ключами, и малыми озерами! Возмолитесь Царю Небесному о царе Петре Алексеиче! И рыбы морские, и скоты полевые, и звери дубровные, и поля, и леса, и горы, и все земнородное, возмолитесь к Царю Небесному о царе Петре Алексеиче!

Чулан бабы Алены отделяла досчатая перегородка от более просторной кельи, в которой жил старец Корнилий с учеником своим Тихоном. Ни слова не произнес Тихон во время разговора на плоту, но слушал с большим волнением, чем кто-либо. Когда все разошлись; ста-

рец поехал на челноке на берег для свидания и беседы с другими раскольниками о предстоявшем великом самосожжении целых тысяч гонимых людей старой веры в лесах Керженских за Волгою. Тихон вернулся в свою плавучую келью один, лег, но так же, как в соседнем чулане баба Алена, не мог заснуть и думал о том, что слышал в ту ночь. Он чувствовал, что от этих мыслей зависит все его будущее, что наступает мгновение, которое, как нож, разделит жизнь его пополам. «Я теперь, как на ножевом острие, – говорил он сам себе, – в которую сторону свалюсь, в ту и пойду».

Вместе с будущим вставало перед ним и прошлое.

Тихон был единственный сын, последний отпрыск некогда знатного, но давно уже опального и захудалого рода князей Запольских. Мать его умерла от родов. Отец, стрелецкий голова, участвовал в бунте, стал за Милославских, за старую Русь и старую веру против Петра. Во время розыска 1698 года был осужден, пытан в застенках Преображенского и казнен в Кремле на Красной площади.

Всех родных и друзей его также казнили или сослали.

Восьмилетний Тихон остался круглым сиротой на попечении старого дядьки Емельяна Пахомыча. Ребенок был слаб и хил; страдал припадками, похожими на черную немочь; отца любил со страстною нежностью. Опасаясь за здоровье мальчика, дядька скрывал от него смерть отца, сказывал Тихону, будто бы отец уехал по делам в далекую Саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил как тень в огромном опустелом доме и сердцем чуял беду. Наконец, не выдержал. Однажды, после долгих тщетных расспросов, убежал из дому один, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяди в то время не было в живых, его казнили вместе с отцом Тихона.

У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, нагруженные доверху трупами казненных стрельцов, коекак набросанными, полунагими. Подобно зарезанному скоту, которого тащат с бойни, везли их к общей могиле, к живодерной яме, куда сваливали вместе со всякою поганью и падалью: таков был указ царя. Из бойниц Кремлевских стен торчали бревна; бесчисленные трупы висели на них «как полти» – соленая астраханская рыба, которую вешали пучками сушиться на солнце.

Безмолвный народ целыми днями толпился на Красной площади, не смея подходить близко к месту казней, глядя издали. Протеснившись сквозь толпу, Тихон увидел возле Лобного места, в лужах крови, длинные, толстые бревна, служившие плахами. Осужденные, теснясь друг к другу, иногда по тридцати человек сразу, клали на них головы в ряд. В то время как царь пировал в хоромах, выходивших окнами на площадь, ближние бояре, шуты и любимцы рубили головы. Недовольный их работою – руки неумелых палачей дрожали – царь велел привести к столу, за которым пировал, двадцать осужденных и тут же казнил их собственноручно под заздравные клики, под звуки музыки: выпивал стакан и отрубал голову; стакан за стаканом, удар за ударом; вино и кровь лились вместе, вино смешивалось с кровью.

Тихон увидал также виселицу, устроенную наподобие креста, для мятежных стрелецких попов, которых вешал сам всешутейший патриарх Никита Зотов; множество пыточных колес с привязанными к ним раздробленными членами колесованных; железные спицы и колья, на которых торчали полуистлевшие головы: их нельзя было снимать, по указу царя, пока они совсем не истлеют. В воздухе стоял смрад. Вороны носились над площадью стаями.

Мальчик взгляделся пристальнее в одну из голов. Она чернела явственно на голубом прозрачном небе с нежнозолотистыми и розовыми облаками: вдали – главы Кремлевских соборов горели как жар; слышался вечерний благовест. Вдруг показалось Тихону, будто бы все – и небо, и главы соборов, и земля под ним шатается, что он сам проваливается. В торчавшей на спице мертвой голове с черными дырами вместо вытекших глаз узнал он голову отца. Затрепала барабанная дробь. Из-за угла выступила рота преображенцев, сопровождавшая телеги с новыми жертвами. Осужденные сидели в белых рубахах, с горящими свечами в руках, со

спокойными лицами. Впереди ехал на коне всадник высокого роста. Лицо его было тоже спокойно, но страшно. Это был Петр. Тихон раньше никогда не видел его, но теперь тотчас узнал. И ребенку показалось, что мертвая голова отца своими пустыми глазницами смотрит прямо в глаза царю. В то же мгновение он лишился чувств. Отхлынувшая в ужасе толпа раздавила бы мальчика, если бы не заметил его старик, давнишний приятель Пахомыча, некто Григорий Талицкий. Он поднял его и отнес домой. В ту ночь у Тихона сделался такой припадок падучей, какого еще никогда не было. Он едва остался жив.

Григорий Талицкий, человек неизвестный и бедный, живший перепискою старинных книг и рукописей, один из первых начал доказывать, что царь Петр есть Антихрист.

Как обвиняли его впоследствии во время розыска, «от великой своей ревности против Антихриста и сумнительного страха стал он кричать в народ злые слова в хулу и поношение государя». Сочинив тетрадки О пришествии Антихриста и о скончании света, он задумал напечатать их и «бросать листы в народ безденежно» для возмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с ним о царе – Антихристе, о последнем времени. Старец Корнилий, тогда живший в Моектаже участвовал в этих беседах. Маленький Тихон слушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки, в запустелом доме собирались и каркали: «Приближается конец века, пришли времена лютые, пришли года тяжкие: не стало веры истинной, не стало стены каменной, не стало столпов крепких – погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие: загорится вся земля и выгорит в глубину на шестьдесят локтей за наше великое беззаконие». Они рассказывали о видении «некоего мерзкого и престрашного Черного Змия, который в никонианских церквах, во время богослужения, на плечах архиереев, вместо святого амофора висит, ползая и стрегочуще; или ночью, обогнувшись около стен царских палат, голову и хобот имея внутри палаты, шепчет на ухо царю». И унылые беседы переходили в еще более унылые песни:

Говорит Христос, Царь Небесный:  
Ох, вы, люди мои, люди,  
Вы бегите-ка в пустыни,  
В леса темные, в вертели.  
Засыпайтесь, мои светы,  
Рудожелтыми песками,  
Вы песками, пеплами,  
Умирайте, мои светы,  
Не умрете – оживете,  
Божья царства не минете!

С особенною жадностью слушал он рассказы о сокровенных обителях среди дремучих лесов и топей за Волгою, о невидимом Китеже-граде на озере Светлояре. То место кажется пустынным лесом. Но там есть и церкви, и дома, и монастыри, и множество людей. Летними ночами на озере слышится звон колоколов и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей. Там поистине царство земное: и покой, и тишина, и веселие вечное; святые отцы процветали там, как лилии, как кипарисы и финики, как многоцветный бисер и звезды небесные; от уст их исходит непрестанная молитва к Богу, как фимиам благоуханный и кадило избранное; а когда наступит ночь, молитва их видима бывает, как столпы пламенные с искрами; и так силен тот свет, что можно читать и писать без свечи.

Их возлюбил Господь и хранит, как зеницу ока, покрывая невидимо дланью Своею до скончания века. И не узрят они скорби и печали от зверя-антихриста, только о нас, грешных, день и ночь печалуют – об отступлении нашем и всего царства Русского, что Антихрист в нем царствует. В невидимый град ведет сквозь чащи и дебри одна только узкая, окруженная

всякими дивами и страхами, тропа Батыева, которой никто не может найти, кроме тех, кого сам Бог управит в то благоутишное пристанище.

Слушая эти рассказы, Тихон стремился туда, в дремучие леса и пустыни. С невыразимой грустью и сладостью повторял он вслед за Пахомычем древний стих о юном пустынноике. Иосафе царевиче:

Прекрасная мати пустыня!  
Пойду по лесам, по болотам,  
Пойду по горам, по вертепам,  
Поставлю я малую хижу.  
Разгуляюсь я, млад юнош,  
Иосафий царевич,  
Во зеленой во дуброве.  
Кукушка в ней воркукует  
Умильный глас испускает -  
И та меня поучает.  
В тебе, мать-пустыня,  
Гнилые колоды -  
Мне райская пища,  
Сахарное яство;  
Холодные воды -  
Медвяное пойло.

С раннего детства у Тихона бывало иногда, особенно перед припадками, странное чувство, ни на что не похожее, нестерпимо жуткое и вместе с тем сладкое, всегда новое, всегда знакомое. В чувстве этом был страх и удивление, и воспоминание, точно из какого-то иного мира, но больше всего – любопытство, желание, чтобы скорее случилось то, что должно случиться. Никогда ни с кем не говорил он об этом, да и не сумел бы этого выразить никакими словами. Впоследствии, как уже начал он думать и сознавать, чувство это стало в нем сливаться с мыслью о кончине мира, о втором пришествии.

Порою самые зловещие каркания трех стариков оставляли его равнодушным, а что-нибудь случайное, мгновенное – цвет, звук, запах – пробуждало в нем это чувство со внезапной силой. Дом его стоял в Замоскворечье на склоне Воробьевых гор; сад кончался обрывом, откуда была видна вся Москва – груды черных изб, бревенчатых срубов, напоминавших деревню, над ними белокаменные стены Кремля и бесчисленные золотые главы церквей. С этого обрыва мальчик подолгу смотрел на те великолепные и страшные закаты, которые бывают иногда поздней бурной осенью. В мертвенно-синих, лиловых, черных, или воспаленно-красных, точно окровавленных тучах, чудились ему то исполинский Змий, обвившийся вокруг Москвы, то семиглавый Зверь, на котором сидит блудница с чашею мерзостей, то воинства ангелов, которые гонят бесов, разя их огненными стрелами, так что реки крови льются по небу, то лучезарный Сион, невидимый Град, сходящий с неба на землю во славе грядущего Господа. Как будто там, на небе, уже совершалось в таинственных знамениях то, что и на земле должно было когда-то совершиться. И знакомое чувство конца охватывало мальчика. Это же самое чувство рождали в нем и некоторые будничные мелочи жизни: запах табака; вид первой, попавшейся ему на глаза, русской книги, отпечатанной в Амстердаме, по указу Петра, новоизобретенными «гражданскими литеррами»; вид некоторых вывесок над новыми лавками Немецкой слободы; особая форма париков со смешными буклями, длинными, как жидовские Пейсы или собачьи уши: особое выражение на старых русских, недавно бородатых и только что выбритых лицах. Однажды восьмидесятилетнего деда Еремеича, жившего у них в саду пасечника, цар-

ские пристава схватили на городской заставе, насильно обрили ему бороду и обрезали, окур-гузили по установленной мерке, до колен, полы кафтана. Дед, вернувшись домой, плакал как ребенок, потом скоро заболел и умер с горя. Тихон любил и жалел старика. Но, при виде плачущего, куцего и бритого деда, не мог удержаться от смеха, такого странного, неестественного, что Пахомыч испугался, как бы у него не сделался припадок. И в этом смехе был ужас конца.

Однажды зимою появилась комета – звезда с хвостом, как называл ее Пахомыч. Мальчик давно хотел, но не смел взглянуть на нее; нарочно отвертывался, жмурил глаза, – чтобы не видеть. Но увидел нечаянно, когда раз вечером дядька нес его на руках в баню через глухой переулочек, заметенный снежными сугробами. В конце переулочка, меж черных изб над белым снегом, внизу, на самом краю черно-синего неба сверкала огромная, прозрачная, нежная звезда, немного склоненная, как будто убегающая в неизмеримые пространства. Она была не страшная, а точно родная, и такая желанная, милая, что он глядел на нее и не мог наглядеться. Знакомое чувство сильнее, чем когда-либо, сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он весь потянулся к ней, как будто просыпаясь, с нежною сонной улыбкою. И в то же мгновение Пахомыч почувствовал в теле его страшную судорогу. Крик вырвался из груди мальчика. С ним сделался второй припадок падучей.

Когда ему исполнилось шестнадцать лет, забрали его, так же, как и других шляхетных детей, в «школу математических и навигацких, то есть мореходных хитростных искусств»., Школа помещалась в Сухаревой башне, где занимался астрономическими наблюдениями генерал Яков Брюс, которого считали колдуном и чернокнижником: кривая баба, торговавшая на Второй Мещанской мочеными яблоками, видела, как однажды зимнею ночью Брюс полетел со своей вышки прямо к месяцу верхом на подзорной трубе. Пахомыч ни за что не отдал бы дитя в такое проклятое место, если бы ребят не забирали силою.

Укрывавшиеся дворянские недоросли, привезенные из своих поместий под конвоем, иногда женатые, тридцатилетние и даже сорокалетние младенцы, сидели рядом с настоящими детьми на одной парте и зубрили по одной книжке, с картинкою, изображавшею учителя, который огромным пучком розог сечет разложенного на скамейке школьника-с подписью: всяк человек в тиши поучайся.

Все буквари обильно украшались розочными виршами:

Благослови, Боже, оные леса, где розги родят на долгие времена.  
Малым розга березова ко умилению,  
А старым жезл дубовый ко подкреплению.

И царским указом предписывалось: «выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку ІВо всякой каморе во время учения и иметь хлыст в руках; и буде кто из учеников будет бесчинствовать, оным бить, несмотря какой бы виновный фамилии не был».

Но как ни вбивали в головы науку малым – хлыстом и розгою, большим – плетями и батогами, все одинаково плохо учились. Иногда в минуты отчаяния певали они «песнь вавилонскую». Начинали старшие хриплыми с перепоею басами:

Житье в школе не по нас,  
В один день секут пять раз.

Малыши подтягивали визгливыми дискантами:

Ох, горе, беда!  
Секут завсегда.

И дисканты и басы сливались в дружный хор:

И лозами по бедрам,  
И палями по рукам,  
Ни с другого слова в рожу,  
Со спины дерут всю кожу.  
Геометрию смекай,  
А пустые щи хлебай.  
Ох, горе, беда!  
Секут всегда.  
О, проклятое чернило!  
Сердце наше иссушило.  
И бумага, и перо  
Сокрушают нас зело,  
Хоть какого молодца  
Сгубит школа до конца.  
Ох, горе, беда!  
Секут всегда.

Немногому научился бы Тихон в школе, если бы не обратил на него внимания один из учителей, кенигсбергский немец, пастор Глюк. Выучившись русскому языку с грехом пополам у беглого польского монаха, Глюк приехал в Россию обучать «московских юношей, аки мягкую И ко всякому изображению угодную глину». Он разочаровался скоро не столько в самих юношах, сколько в русском способе «муштровать их, как цыганских лошадей», вбивать им в голову науку плетью. Глюк был человек умный и добрый, хотя пьяница. Пил же с горя, потому что не только русские, но и немцы считали его сумасшедшим. Он писал головомное сочинение, комментарии на комментарии Ньютона к Апокалипсису, где все христианские откровения о кончине мира доказывались тончайшими астрономическими выкладками на основании законов тяготения, изложенных в недавно вышедших ньютоновых *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*.

В ученике своем, Тихоне, он открыл необыкновенные способности к математике и полюбил его как родного.

Старый Глюк сам в душе был ребенком. С Тихоном говорил он, особенно будучи навеселе, как со взрослым и единственным другом. Рассказывал ему о новых философских учениях и гипотезах, о Magna Instauratione Бэкона, о геометрической этике Спинозы, о вихрях Декарта, о монадах Лейбница, но всего вдохновеннее о великих астрономических открытиях Коперника, Кеплера, Ньютона.

Мальчик многого не понимал, но слушал эти сказания о чудесах науки с таким же любопытством, как беседы трех стариков о невидимом Китеже-граде.

Пахомыч считал всю вообще науку немцев, в особенности же «звездочетие», «остроумие», безбожною.

– Проклятый Коперник, – говорил он, – Богу соперник: тягостную землю поднял от центра земного и звезды стоят, а земля оборачивается, противно священным писаниям. Смеются над ним богословы!

– Истинная философия, – говорил пастор Глюк, вере не только полезна, но и нужна. Многие святые отцы в науках философских преизяществовали. Знание природы христианскому закону не противно; и кто природу исследовать тщится, Бога знает и почитает; физические рассуждения о твари служат к прославлению Творца, как и в Писании сказано: Небеса поведают славу Господню.

Но Тихон угадывал смутным чутьем, что в этом согласии науки с верою не все так просто и ясно для самого Глюка, как он думает, или только старается думать. Недаром иногда, в конце ученого спора с самим собою о множестве миров, о неподвижности космических пространств, сильно выпивший старик, забывая присутствие ученика, опускал, как будто в изнеможении, на край стола свою лысую, со съехавшим на сторону париком, голову, отяжелевшую не столько от вина, сколько от головокружительных метафизических мыслей, и глухо стонал, повторяя знаменитое восклицание Ньютона:

– О, физика, спаси меня от метафизики!

Однажды Тихон – ему было тогда уже девятнадцать лет, он кончал школу и хорошо читал по-латински случайно открыл валявшийся на рабочем столе учителя привезенный им из Голландии рукописный сборник писем Спинозы и прочел первые на глаза попавшиеся строки:

Между свойствами человека и Бога так же мало общего, как между созвездием Пса и псом, лающим животным.

Если бы треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, Бог есть не что иное, как совершенный треугольник, круг – что природа Бога в высшей степени кругла".

В другом письме – об Евхаристии: «О, безумный юноша! Кто же так околдовал вас, что вы вообразили, будто нужно проглатывать святое и вечное, будто святое и вечное может находиться во внутренностях ваших? Ужасны таинства вашей церкви: они противоречат здравому смыслу». Тихон закрыл книгу и больше не читал. Первый раз в ЖИЗНИ испытал он от мысли то чувство, которое прежде испытывал только от внешних впечатлений – ужас конца.

В Сухаревой башне у генерала Якова Вилимовича Брюса была обширная библиотека и «кабинет математических, механических и других инструментов, также природы – зверей, инсект, кореньев, всяких руд и минералов, антиквитетов, древних монет, медалей, резных камней, личин и вообще как иностранных, так и внутренних курьезностей». Брюс поручил пастору Глюку составить ведомость, или опись, всем предметам и книгам. Тихон помогал ему и целые дни проводил в библиотеке.

Однажды, ясным летним вечером, он сидел на самом верху складной, двигавшейся на колесиках библиотечной лесенки перед стеной, сверху донизу уставленной книгами, наклеивая номера на корешки и сравнивая новую рукопись со старого, безграмотною, в которой заглавия иностранных книг списаны были русскими буквами. Сквозь высокие окна с мелкими круглыми стеклами в свинцовом переплете, как в старинных голландских домах, падали лучи солнца косыми пыльными снопами на сверкающие медные машины – небесные сферы, астролябии, компасы, треугольники, циркули, масштабы, ватерпасы, подзорные трубы, «микроскопиумы», на чучела разных диковинных зверей и птиц, на огромную кость мамонтовой головы, на чудовищных китайских идолов и мраморные личины прекрасных эллинских богов, на бесконечные полки книг в однообразных кожаных и пергаментных переплетах. Тихону нравилась эта работа. Здесь, в царстве книг, была такая уютная тишина, как в лесу или на старом, людьми покинутом, солнцем излюбленном кладбище. Доносился только с улицы вечерний благовест, напоминавший звон китежских колоколов, да сквозь отворенные в соседнюю комнату двери слышались голоса пастора Глюка и Брюса. Отужинав, сидели они за столом, курили и пили, беседуя.

Тихон только наклеил новые номера на инкварто и октаво, обозначенные в старой описи под номером 473:

«Философия Франциско Бакона на английском языке в трех томах»; под номером 308: «Медитацион де прима философии чрез Декартес на голанском языке»; под номером 532: «Математикал элеманс натураль философии чрез Исака Нефтона». Ставя книги на полку, в глубине ее ощупал он и вытащил завалившееся, очень ветхое, изъеденное мышами октаво под номером 461: «Лионардо Давинчи, трактат о живописном письме на немецком языке». Это был первый, изданный в Амстердаме, в 1582 году, немецкий перевод *Trattato della pittura*. В

книгу отдельных листков вложен был гравированный на дереве портрет Леонардо. Тихон вглядывался в странное, чуждое и, вместе с тем, как будто знакомое, в незапамятном сне виденное, лицо и думал, что, верно, у Симона Мага, летавшего по воздуху, было такое же точно лицо.

Голоса в соседней комнате стали раздаваться громче.

Брюс о чем-то спорил с Глюком. Они говорили по-немецки. Тихон выучился этому языку у пастора. Несколько отдельных слов поразили его; и он с любопытством прислушался, все еще держа в руках книгу Леонардо.

– Как же вы не видите, достопочтенный, что Ньютон был не в здравом уме, когда писал свои комментарии к Апокалипсису? – говорил Брюс. – Он, впрочем, в этом и сам признается в письме к Бентлею от 13 сентября 1693 года:

«я потерял связь своих мыслей и не чувствую прежней твердости рассудка» – попросту, значит, рехнулся.

– Ваше превосходительство, я желал бы лучше быть сумасшедшим с Ньютоном, чем здравомыслящим со всей остальной двуногою тварью! – воскликнул Глюк и залпом выпил стакан.

– О вкусах не спорят, любезный пастор, – продолжал Яков Вилимович, засмеявшись сухим, резким, точно деревянным смехом, – но вот что всего любопытнее: в то самое время, как сэр Исаак Ньютон сочинял свои Комментарии, – на другом конце мира, именно здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочинили тоже свои комментарии к Апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Их за то гонят и преследуют; а я сказал бы об этих несчастных словами философа Лейбница:

«я не люблю трагических событий и желал бы, чтобы всем на свете жилось хорошо; что же касается заблуждения тех, которые спокойно ждут кончины мира, то оно мне кажется совсем невинным». Так вот что, говорю я, всего любопытнее: в этих апокалипсических бреднях крайний Запад сходится с крайним Востоком и величайшее просвещение – с величайшим невежеством, что действительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира Приближается и что все мы скоро отправимся к черту!..

Он опять засмеялся своим резким, деревянным смехом или прибавил что-то, чего не расслышал Тихон, должно быть очень вольнодумное, потому что Глюк, у которого, как всегда в конце ужина, парик съехал на сторону, и в голове шумело, вдруг яростно вскочил, отодвинул стул и хотел выбежать из комнаты. Но Яков Вилимович удержал и успокоил его несколькими добрыми словами. Брюс был единственным покровителем Глюка. Он уважал и любил его за бескорыстную любовь к науке. Но, будучи скептиком, и даже, как утверждали многие, совершенным атеистом, не мог видеть бедного пастора, этого «Донкишота астрономии», чтобы не подразнить его и не посмеяться над злополучными комментариями к Апокалипсису, над примирением науки с верою. Брюс полагал, что надо выбрать одно из двух – или веру без науки, или науку без веры.

Яков Вилимович наполнил стакан Глюка и, чтобы утешить его, начал расспрашивать о подробностях ньютонова Апокалипсиса. Старик отвечал сперва т'охотно, но потом опять увлекся и сообщил разговор Ньютона с друзьями о комете 1680 года. Когда его однажды спросили о ней, вместо ответа он открыл свои Начала и указал место, где указано: *Stellae fixae refici possunt*. Неподвижные звезды могут восстанавливаться от падения на них комет. – «Почему же вы не писали о солнце так же откровенно, как о звездах?» – «Потому, что солнце ближе нас касается», отвечал Ньютон и потом прибавил, смеясь: «я, впрочем, сказал достаточно для тех, кто желает понять!» Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце, – воскликнул Глюк, – и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем! В Писании сказано: небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Тогда исполнятся оба пророчества – того, кто верил, и того, кто знал.

– "Hypotheses поп fingo! Я не сочиняю гипотез!" – заключил он вдохновенно, повторяя великое слово Ньютона.

Тихон слушал – и давнее, вещее карканье трех стариков, трех воронов соединилось для него с точнейшими выводами знания. Закрыв глаза, увидел он глухой переулочек, занесенный снежными сугробами, и в конце его, внизу, над белым снегом, меж черных изб, на краю черносинего неба огромную, прозрачную, нежную звезду. И так же, как в детстве, знакомое чувство сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он уронил книгу Леонардо, которая задела, падая, трубку астролябии и повалила ее на пол с грохотом. Прибежал. Глюк, Он знал, что Тихон страдает припадками. Увидев его вверху лестницы, дрожащего, бледного, он бросился к нему, обнял, поддержал и помог сойти. На этот раз припадок миновал. Пришел также Брюс. Они расспрашивали Тихона с участием. Но он молчал: чувствовал, что нельзя ни с кем говорить об этом.

– Бедный мальчик! – сказал Яков Вилимович Глюку, отводя его в сторону. – Наш разговор напугал его.

Здесь они все таковы -только и думают о кончине мира.

Я заметил, что в последнее время какое-то безумие распространяется среди них, как зараза. Бог знает, чем кончит этот несчастный народ!

По выходе из школы, Тихон должен был поступить, как все шляхетные дети, в военную службу. Пахомыч умер. Глюк собирался в Швецию и Англию, по поручению Брюса, для закупки новых математических инструментов. Он приглашал с собою Тихона, который, забыв свои детские страхи и предостережение Пахомыча, все с большей любовью предавался изучению математики.

Здоровье окрепло, припадки не повторялись. Давнее любопытство влекло его в другие края, в «царство Стекольное», почти столько же для него таинственное, как невидимый Китежград. По ходатайству Якова Вилимовича, навигацкий ученик Запольский, в числе других «младенцев Российских», послан был царским указом для окончания наук за море. Они приехали с Глюком в Петербург в начале июня 1715 года. Тихону исполнилось 25 лет: он был ровесником царевича Алексея, но по виду все еще казался мальчиком. Через несколько дней из Кроншлота отходил купеческий корабль, на котором они должны были плыть в Стокгольм – Стекольный.

Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь не похожим на Москву, поразил Тихона. Целыми днями он бродил по улицам, смотрел и удивлялся: бесконечные каналы, першпективы, дома на сваях, вбитых в зыбкую пучину болот, построенные в ряд «линейно», по указу, «так чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось», бедные мазанки среди лесов и пустырей, крытые по-чухонски дерном и берестой, дворцы затейливой архитектуры «на прусский манер», унылые гарнизонные магазейны, цейхаузы, амбары, церкви с голландскими шпильцами и курантным боем – все было плоско, пошло, буднично и в то же время похоже на сон. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть – невидимо, а здесь в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет; оба города одинаково призрачны. И снова рождалось нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал – чувство конца. Но оно не разрешалось, как прежде, восторгом и ужасом, а давило тупо бесконечною тоскою. Однажды на Троицкой площади, у «кофейного дома» Четырех Фрегатов, встретил он человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера. И точно так же, как и в Москве, на Красной площади, у Лобного места, где торчавшая на коле мертвая голова отца его смотрела пустыми глазницами прямо в глаза этому самому человеку, – Тихон тотчас узнал его: это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город:

У них обоих была одна печать.

В тот же день встретил он старца Корнилия, обрадовался ему, как родному, и уже не покидал его. Ночевал у старца в келье, дни проводил на плотках, на барках с утаенными, бег-

лыми людьми. Слушал рассказы о житии великих пустынных отцов на далеком севере, в лесах Поморских, Онежских и Олонецких, где Корнилий, уйдя из Москвы, провел много лет, о тамошних страшных горях – многотысячных самосожжениях. Оттуда шел он теперь за Волгу на Керженец проповедовать «красную смерть».

Тихон учился недаром. Многому, чему верили эти люди, он уже не верил; думал иначе, но чувствовал так же, как они. Самое главное – чувство конца – у них было общее с ним. То, о чем он никогда ни с кем не говорил, чего никто из ученых людей и не понял бы, они понимали – этим только и жили. Все, что с раннего детства он слышал от Пахомыча, теперь вдруг ожило в душе его С новой силою. Опять потянуло его в леса, в пустыни, в сокровенные обители, в «благоутишное пристанище».

Как будто при свете белых ночей над простором Невы, сквозь бой голландских курантов, опять ему слышался звон китежских колоколов. И опять, с томительной грустью и сладостью, повторял он стих об Иосафе царевиче:

Прекрасная мати пустыня!  
Пойду по лесам, по болотам,  
Пойду по горам, по вертепам...

Надо было решить, надо было выбрать одно из двух: или навсегда вернуться в мир, чтобы жить, как все живут, служить человеку, который погубил отца его и, может быть, погубит Россию; или навсегда уйти из мира, сделаться нищим, бродягою, одним из утаенных, беглых людей, «настоящего града не имеющих, грядущего – взыскивающих»; на запад с пастором Глюком – в город Стекольный, или на Восток со старцем Корнилием – в невидимый Китеж-град. Что он выберет, куда пойдет? Он сам еще не знал, колебался, медлил последним решением, как будто ждал чего-то. Но в эту ночь, после разговора на плоту о Петре-антихристе, почувствовал, что медлить нельзя. Завтра отправляется корабль в Стокгольм и завтра же старец Корнилий, которому грозил донос, должен бежать из Петербурга. Он звал с собою Тихона.

«Я теперь как на ножевом острие, – опять подумал он. – В которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Одна жизнь, одна смерть. Раз ошибешься, второй не поправишь».

Но в то же время он чувствовал, что не имеет силы решить, и что две судьбы, как два конца мертвой петли, соединяясь, стягиваясь, давят и душат его. Он встал, взял с полки рукописную книгу – «Слово св. Ипполита о втором пришествии» и, чтобы отдохнуть от мыслей, начал рассматривать, при свете лампы, горевшей перед образом, заставные картинки. На одной из них, слева, сидел на престоле Антихрист, в зеленом, с красными отворотами и медными пуговицами, Преображенском мундире, в треуголке, со шпагою, похожий лицом на царя Петра Алексеевича, и указывал рукою вперед. Перед ним, вправо, Преображенской и семеновской гвардии отряд направлялся к скиту среди темного леса. Вверху на горах с тремя пещерами молились иноки. Солдаты, руководимые синими бесами, взбирались вверх по горному склону. Внизу подпись: «тогда пошлет в горы и вертепы, и пропасти земные полки свои бесовские, дабы искать укрывшихся от глаз его и тех привести на поклонение себе». На другой картинке солдаты расстреливали связанных старцев:

«оружием от диявола падут».

За дощатой перегородкой в соседнем чулане все еще пыхала и плакала баба Алена, молясь Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче. Тихон положил книгу, Опустился на колени перед образом. Но молиться не мог.

Тоска напала на него, какой он еще никогда не испытывал. Пламя догоревшей лампы, последний раз вспыхнув, потухло. Наступила тьма. И что-то подползало, подкрадывалось в этой тьме, хватало его за горло темною, теплою, МЯГКОЮ, словно косматою, лапою. Он задышался. Холодный пот выступал на теле. И опять ему казалось, что он летит стремглав, прова-

ливається в чорну тьму, як зияющую бездну – пасть самого Зверя. «Все равно», – подумал он, и вдруг нестерпимым светом загорелась в сознании мысль: все равно, какой из двух путей он выберет, куда пойдет – на Восток или Запад; и здесь, и там, на последних пределах Востока и Запада – одна мысль, одно Чувство: скоро конец. Ибо, как молния исходит от Востока и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие сына Человеческого. И в нем как будто сверкнула эта последняя соединяющая молния. "Ей, гряди. Господи Иисусе – воскликнул он, и в то же мгновение в конце кельи вспыхнул белый, страшный свет. Раздался оглушительный треск, как будто небо распалось и рушилось. Это была та самая молния, которая так напугала Петра, что он выронил икону из рук у подножия Венус. Баба Алена услышала сквозь вой, свист и грохот бури ужасный нечеловеческий крик: у Тихона сделался припадок падучей.

Он очнулся на корме барки, куда, во время припадка, вынесли его из душевной кельи. Было раннее утро. Вверху голубое небо, внизу белый туман. Звезда блестела на востоке сквозь туман, звезда Венеры. И на острове Кейвусаре, Петербургской стороне, на Большой Дворянской, над Куполом дома, где жил Бутурлин, «митрополит всепьянейший», позолоченная статуя Вакха, под первым лучом солнца, вспыхнула огненно-красной, кровавой звездой в тумане, как будто земная звезда обменялась таинственным взглядом с небесною. Туман порозовел, точно в тело бледных призраков влилась живая кровь. И мраморное тело богини Венус в средней галерее над Невою сделалось теплым и розовым, словно живым. Она улыбнулась вечною Улыбкой солнцу, как будто радуясь, что солнце восходит и здесь, в гиперборейской полночи. Тело богини было воздушным и розовым, как облако тумана; туман – живым и теплым, как тело богини. Туман был телом ее – все было в ней, и она во всем.

Тихон вспомнил свои ночные мысли и почувствовал в душе спокойную решимость: не возвращаться к пастору Глюку и бежать со старцем Корнилием.

Барка, на которой он лежал, сдвинутая бурей, уперлась кормою в тот самый плот, где ночью шел разговор об Антихристе. Иванушка, успевший выспаться, сидел на том же месте, как ночью, и пел ту же песенку. И музыка, или только призрак музыки – заглушенные туманом звуки менуэта:

Покинь, Купидо, стрелы,

Уже мы все не целы – сливались с унылой, протяжною песнью Иванушки, который, глядя на Восток – начало дня, пел вечному Западу – концу всех дней:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые,  
Всем есте, гробы, домовища вечные!  
День к вечеру приближается,  
Солнце идет к Западу,  
Секира лежит при корени.  
Приходят времена последние!

На берегу Невы, у церкви Всех Скорбящих, рядом с домом царевича Алексея, находился дом царицы Марфы Матвеевны, вдовы сводного брата Петрова, царя Феодора Алексеевича. Феодор умер, когда Петру было десять лет.

Восемнадцатилетняя царица прожила с ним в супружестве всего четыре недели. После его смерти она помешалась в уме от горя и тридцать три года проявила в заключении. Никуда не выходила из своих покоев, никого не узнавала. При чужеземных дворах считали ее давно умершею.

Петербург, который она мельком видела из окон своей комнаты – мазанковые здания, построенные «голландскою и прусскою манирою», церкви шпицом, Нева с верейками и барками, каналы, – все это представлялось ей как страшный нелепый сон. А сновидения казались действительностью. Она воображала, что живет в Московском Кремле, в старых теремах, и

что, выглянув в окно, увидит Ивана Великого. Но никогда не выглядывала, боялась света дневного. У нее в хоромах была вечная темнота, окна завешены. Она жила при свечах.. Вековые запаны и завесы скрывали от взоров людских последнюю московскую царицу. Торжественный и пышный царский чин соблюдался на Верху. Служители далее сеней не смели входить без «обсылки». Здесь время остановилось, и все навеки было неподвижно – так, как во времена Тишайшего царя Алексея Михайловича. Безумная сказка сложилась в ее больном уме, будто бы муж ее, царь Феодор Алексеевич жив и живет в Иерусалиме, у Гроба Господня, молится за Русскую землю, на которую идет Антихрист с несметными полчищами ляхов и немцев; на Руси нет царя, а тот царь, который и есть, не истинный; он – самозванец, оборотень, Гришка Отрепьев, беглый пушкарь, немец с Кукуевской Слободы; но Господь не до конца прогневался на православных; когда исполнятся времена и сроки, единый благоверный царь всея Руси, Феодор, солнышко красное, вернется в свою землю с грозною ратью, в силе и славе, и побегут перед ним басурманские полчища, как ночь перед солнцем, и сядет он вместе с царицею на дедовский престол, и восстановит суд и правду в земле своей; весь народ придет к нему и поклонится; и низринут будет Антихрист со всеми своими немцами. Тогда скоро и миру конец и второе страшное пришествие Христово. Все это близко, при дверях.

Недели через две после праздника Венеры в Летнем саду, царевна Мария пригласила Алексея в дом царицы Марфы. Здесь уже не раз бывали у них тайные свидания. Тетка передавала ему вести и письма от матери, опальной царицы Евдокии Феодоровны, во иночестве Елены, первой жены Петра, насильно постриженной им и заключенной в Суздальско-Покровском девичьем монастыре.

Алексей, войдя в дом царицы Марфы, долго пробирался по темным брусным переходам, сеням, клетям, подклетям и лестницам. Всюду пахло деревянным маслом, рухлядью, ветошью, как будто пылью и гнилью веков.

Всюду были келийки, горенки, тайнички, боковушки, чуланчики. В них ютились старье-престарые верховые боярыни и боярышни, комнатные бабы, мамы, казначеи, нортмои, меховницы, постельницы, юродивые, нищие, странницы, государевы богомольцы, дураки и дурки, девочки-сиротинки, столетние сказочники-бахари и игрецыдомрачеи, которые воспевали былины под звуки заунывных домр. Дряхлые слуги в полинялых мухояровых кафтанах, седые, шершавые, точно мохом обросшие, хватали царевича за полы, целовали его в ручку, в плечико.

Слепые, немые, хромые, седые, сивые от старости, безликие, следуя за ним, скользили по стенам, как призраки, кишели, копошились, ползали в темноте переходов, как в сырых щелях мокрицы. Навстречу ему попался дурак LUaMblpa, вечно хихикавший и щипавшийся с дуркою Манькою. Самая древняя из верховых боярынь, любимая царицею, так же, как и она, выжившая из ума, толстая, вся заплывшая желтым жиром, трясущаяся, как студень, Сундулея Вахрамеевна повалилась ему в ноги и почему-то завывала, причитая над ним, как над покойником. Царевичу стало жутко. Вспомнилось слово отца: «оный двор царевны Марфы от набожности есть гошпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов».

Он с облегчением вздохнул, вступив в более светлую и свежую угловую горницу, где ожидала его тетка, царевна Марья Алексеевна. Окна выходили на голубой и солнечный простор Невы с кораблями и барками. Голые бревенчатые стены, как в избе. только в красном углу киот с образами и тускло теплившеюся лампадкою. По стенам лавки. Сидевшая за столом тетка привстала и обняла царевича с нежностью. Марья Алексеевна одета была постаринному, в повойнике, в шерстяном шушуне смиренного, то есть темного, вдовьего цвета, с коричневыми крапинками. Лицо у нее было некрасивое, бледное и одутловатое, как у старых монахинь. Но в злых тонких губах, в умных, острых, точно колючих, глазах было что-то властное и твердое, напоминавшее царевну Софью – «злое семя Милославских». Так же, как Софья, ненавидела

она брата и все дела его, «душою о старине горела». Петр щадил ее, но называл старую вороною за то, что она ему вечно каркала.

Царевна подала Алексею письмо от матери из Суздаля.

То был ответ на недавнюю, слишком сухую и краткую записочку сына: «Матушка, здравствуй! Пожалуй, не забывай меня в своих молитвах». Сердце Алексея забилося, когда он стал разбирать безграмотные строки с неуклюже нацарапанными, детскими буквами знакомого почерка.

«Царевич Алексей Петрович, здравствуй. А я, бедная, в печалях своих еле жива, что ты, мой батюшка, меня покинул, что в печалях таких оставил, что забыл рождение мое. А я за тобою ходила рабски. А ты меня скоро забыл. А я тебя ради по сие число жива. А если бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и в бедах, и в нищете. Горькое, горькое мое житие! Лучше бы я на свет не родилась. Не ведаю, за что мучаюсь. А я же тебя не забыла, всегда молюся за здоровье твое Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила тебя и во всякой бы чистоте соблюла. Образ здесь есть Казанской Пресвятой Богородицы, по явлению построена церковь. А я за твое здоровье обещалась и подымала образ в дом свой, да сама ночью проводила, на раменах своих несла. А было мне На плечах (церковнослав.). видение месяца Майя двадцать третье число. Явилася пресветлая и пречистая Царица Небесная и обещалась у Господа Бога, своего Сына, упросить, да печаль мою на радость претворить. И слышала я, недостойная, от пресветлой Жены – рекла она такое слово: „предпочла-де ты Мой образ и проводила до храма Моего, и Я-де тебя возвеличу и сына-де твоего сохраню“. А ты, радость моя, чадо мое, имей страх Божий в сердце своем. Отпиши, друг мой, Олешенька, хоть едину строчку, утоли мое рыдание слезное, дай хоть мало мне отдохнуть от печали, помилуй мать свою и рабу, пожалуй, отпиши! Рабски тебе кланяюсь».

Когда Алексей дочитал письмо, царевна Марья отдала ему монастырские гостинцы – образок, платочек, вышитый шелками собственною рукою смиренной инокини Елены, да две липовые чашечки, «чем водку пьют». Эти жалобные подарки больше тронули его, нежели письмо.

– Забыл ты ее, – произнесла Марья, глядя ему прямо в глаза. – Не пишешь и не посылаешь ей ничего.

– Опасаюсь, – молвил царевич.

– А что? – возразила она с живостью, и острые глаза точно укололи его. – Хотя бы тебе и пострадать? Ничего! Ведь за мать, не за кого иного...

Он молчал. Тогда она начала ему рассказывать шепотом на ухо, что слышала от пришедшего из обители Суздальской юрода Михаила Босого: тамошняя радость обвеселила, там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов; архиерей Новгородский Иов сказывает: «тебе в Питербурхе худо готовится; только Бог тебя избавит, чаю; увидишь, что у вас будет». И старцу Виссариону, что живет в Ярославской стене замурован, было откровение, что скоро перемене быть: «либо государь умрет, либо Питербурх разорится». И епископу Досифею Ростовскому явился св. Дмитрий царевич и предрек, что некоторое смятение будет и скоро совершится.

– Скоро! Скоро! – заключила царевна. – Много вопиющих: Господи мсти и дай совершение и делу конец!

Алексей знал, что совершение значит смерть отца.

– Попомни меня! – воскликнула Марья пророчески. Питербурх не долго за нами будет. Быть ему пусту!

И взглянув в окно на Неву, на белые домики среди зеленых болотистых топей, повторила злорадно:

– Быть пусту, быть пусту! К черту в болото провалится! Как вырос, так и сгинет, гриб поганый. И месте его не найдут, окаянного!

Старая ворона раскаркалась.

– Бабы сказки, – безнадежно махнул рукой Алексей. – Мало ли пророчеств мы слышали? Все вздор!

Она хотела что-то возразить, но вдруг опять взглянула на него своим острым, колючим взором.

– Что это, царевич, лицо у тебя такое? Не можется, что ли? Аль пьешь?

– Пью. Насильно поят. Третьего дня на спуске корабельном замертво вынесли. Лучше бы я на каторге был или лихорадкою лежал, чем там был!

– А ты пил бы лекарства, болезнь бы себе притворял, чтобы тебе на тех спусках не быть, коли ведаешь такой отца своего обычай.

Алексей помолчал, потом тяжело вздохнул.

– Ох, Марьюшка, Марьюшка, горько мне!.. Уже я чуть знаю себя от горести. Если бы не помогала сила Божья, едва можно человеку в уме быть... Я бы рад хоть куды скрыться... Уйти бы прочь от всего!

– Куда тебе от отца уйти? У него рука долга. Везде найдет.

– Жаль мне, – продолжал Алексей, – что не сделал так, как приговаривал Кикин, чтобы уехать во Францию или к кесарю. Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволит. Много ведь нашей братьи-то бегством спасалось. Да нет такого образа, чтобы уехать. Уж и не знаю, что со мною будет, тетенька, голубушка!.. Я ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуды. Либо отпусти в монастырь. И от наследства бы отрекся, жил бы, отдалясь от всего, в покое, ушел бы в свои деревнишки, где бы живот скончать!

– Полно-ка ты, полно, Петрович! Государь ведь человек не бессмертен: воля Божья придет – умрет. Вот, говорят, болезнь у него падучая, а такие люди недолго живут. Даст Бог совершение... Чаю, что не умедлится... Погоди, говорю, доведется и нам свою песенку спеть. Тебя в народе любят и пьют про твоё здоровье, называя надеждою Российскою. Наследство тебя не минует!

– Что наследство, Марьюшка! Быть мне пострижену, и не то, что ныне от отца, а и после него мне на себя ждать того же: что Василья, Шуйского, постригши, отдадут куда в полон. Мое житье худое...

Василий Шуйский, русский царь в 1606-1610 гг., умер в польском плену (1616).

– Как же быть, соколик? Час терпеть, век жить. Потерпи, Алешенька!

– Долго я терпел, больше не могу! – воскликнул он с неудержимым порывом, и лицо его побледнело. – Хоть бы уж один конец! Истома пуще смерти...

Он хотел что-то прибавить, но голос его пресекся. Он глухо простонал: «О, Господи, Господи!» – уронил руки на стол, прижал к ладоням лицо, стиснул голову пальцами и не заплакал, а только весь, как от нестерпимой боли, съежился. Судорога бесслезного рыдания сотрясла все его тело.

Царевна Марья склонилась над ним, положила на плечо его свою маленькую, твердую и властную руку; точно такие же руки были у царевны Софьи.

– Не малодушествуй, царевич, – проговорила она медленно, с тихою и ласковою строгостью. – Не гневи Бога, не ропщи. Помни Иова: благо есть надеяться на Господа, понеже весь живот наш и движение в руке Божией. Может Он и противными полезно нам устроить. Аще Бог с кем, что сотворит тому человек? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Господь воздаст за мя! Положись весь на Христа, Алешенька, друг мой сердешненькой: выше силы не попустит он быть искушению.

Она умолкла. И под эти родные, с детства знакомые звуки молитвенных слов, под эту ласковую, твердую руку, он тоже затих.

Постучались в дверь. То Сундулея Вахрамеевна пришла за ним от царицы Марфы.

Алексей поднял голову. Лицо его все еще было бледно, но уже почти спокойно. Он взглянул на образ с тускло теплившеюся лампадкою, перекрестился и сказал:

– Твоя правда, Марьюшка! Буди воля Божья во всем.

Он за молитвами Богоматери и всех святых, как хочет, совершит или разрешит о нас, в чем надежду мою имел и иметь буду.

– Аминь! – произнесла царевна.

Они встали и пошли в постельные хоромы царицы Марфы.

Несмотря на солнечный день, в комнате было темно, как ночью, и горели свечи. Ни один луч не проникал сквозь плотно забитые войлоками, завешенные коврами окна. В спертом воздухе пахло росным ладаном и гуляфною водкою – розовою водою – куреньями, которые клали в печные топли для духу. Комнату загромаждали казенки, поставцы, шкафы, скрыни, шкатуни, коробьи, ларцы, кованые сундуки, обитые полосами луженого железа подголовки, кипарисовые укладки, со всеми мехами, платьями и белою казною – бельем. Посередине комнаты возвышалось царицыно ложе под шатровую сенью – пологом из алтабаса пунцового, с травами бледно-зеленого золота, с одеялом из кизылбашской золотной камки на соболях с горностаевой опушкой. Все было пышное, но ветхое, истертое, истлевшее, так что, казалось, должно было рассыпаться, как прах могильный, от прикосновения свежего воздуха. Сквозь открытую дверь видна была соседняя комната – крестовая, вся залитая сиянием лампад перед иконами в золотых и серебряных ризах, усыпанных драгоценными камнями. Там хранилась всякая святыня: кресты, панагии, складни, крабицы, коробочки, ставики с мощами; смирна, ливан, чудотворные меды, святая вода в вошанках; на блюдечках кассия, в сосуде свинцовом миро, освященное патриархами; свечи, зажженные от огня небесного; песок Иорданский; частицы Купины Неопалимой, дуба Мамврийского; млеко Пречистой Богородицы; камень лазоревый – небеса, «где стоял Христос на воздухе»; камень во влагалище суконном – «от него благоухание, а какой камень, про то неведомо»; онучки Пафнутия Боровского; зуб Антипия Великого, от зубной скорби исцеляющий, отобранный на себя Иваном Грозным из казны убиенного сына.

У ложа в золоченых креслах, похожих на «царское место», с резным двуглавым орлом и «коруною» на спинке, сидела царица Марфа Матвеевна. Хотя зеленая муравленая печка с узорчатыми городками и гзымзами была жарко натоплена, зябкая большая старуха куталась в телогрею киндячную на песцовом меху. Жемчужная рясна и поднизи свешивались на лоб ее изпод золотого кокошника. Лицо было не старое, но точно мертвое, каменное; густо набеленное и нарумяненное, по древнему чину Московских цариц, казалось оно еще мертвеннее. Живы были только глаза, прозрачно-светлые, но с неподвижным, как будто невидящим, взором; так смотрят днем ночные птицы. У ног ее сидел на полу монашек и что-то рассказывал.

Когда вошел царевич с теткою, Марфа Матвеевна поздоровалась с ними ласково и пригласила послушать странничка Божья. Это был маленький старичок с личиком совсем детским, очень веселым; голосок у него был тоже веселый, певучий и приятный. Он рассказывал о своих странствиях, о скитском житие на Афоне и Соловках. Сравнивая их, отдавал предпочтение обители греческой перед русскою.

– Называется обитель та Афонская Сад Пресвятой Богородицы, на него же всегда зрит с небес Матерь Пречистая, снабдевает и хранит его нерушимо. И помощью ее стоит он и цветет, и плод приносит, внешний и внутренний, вне – красный, внутрь – душеспасительный.

И всяк проникнувший в тот сад, как бы в преддверие райское, и узревший доброту и красоту его, не захочет вспять возвратиться. Воздух там легкий, и высота холмов и гор, и теплота, и свет солнечный, и различие древес и плодов, и близость прежеланного края, Иерусалима, творят веселие вечное. Соловецкий же остров имеет уныние и страх, ожесточение и тьму, и мраз, тартару подобный. Обретается же на острове том и нечто душе вредящее: живут множество птиц белых – чайки. Все лето плодятся, детей выводят, гнезда вьют на земле при путях, где ходят монахи в церковь. И великая от птиц сих тщета творится инокам. Первое, лишаются

благоутишия. Второе, как видят их бьющихся да играющих, да сходящихся, то мыслью пленяются и в страсти приходят. Третье, что и жены, и девицы, и монашки часто бывают в обители той. В Афонской же горе сего соблазна нет: ни чайки не прилетают, ни жены не приходят. Единая Жена, двумя крылами орлицы парящая – Церковь святая, – привитает в пустыне той сладостной, доколе не исполнится воля Господня и времена, кои положил Он во власти своей.

Ему же слава вовеки. Аминь.

Когда он кончил рассказ, царица попросила выйти из комнат всех, даже Марью, и осталась наедине с царевичем.

Она его почти не знала, не помнила, кто он и как ей родством доводится, даже имя его все забывала, а звала просто внучком, но любила, жалела какую-то странною вещью жалостью, точно знала о судьбе его то, чего он сам еще не знал.

Она долго смотрела на него молча своим светлым неподвижным взором, словно застлан-ным пленкою, как взор ночных птиц. Потом вдруг печально улыбнулась и стала тихо гладить ему рукою щеку и волосы:

– Сиротинка ты мой бедненький! Ни отца, ни матери. И заступиться некому. Загрызут овечку волки лютые, заклюют голубчика белого вороны черные. Ох, жаль мне тебя, жаль, родненький! Не жилец ты на свете...

От этого безумного бреда последней царицы, казавшейся здесь, в Петербурге, жалобным призраком старой Москвы, от этой тлеющей роскоши, от этой тихой теплой комнаты, в которой как будто остановилось время, веяло на царевича холодом смерти и ласкою самого дальнего детства. Сердце его грустно и сладко заныло. Он поцеловал мертвенно-бледную, исхудалую руку, с тонкими пальцами, с которой спадали тяжелые древние царские перстни.

Она опустила голову, как будто задумалась, перебирая круглые кральковые четки: от тех кральков – кораллов – дух нечистый бегаёт, «понеже кралек крестообразно растет».

– Все мятется, все мятется, очень худо деется! – заговорила она опять, точно в бреду, с возрастающей тревогою. – Читал ли ты, внучек, в Писании: Дети, последняя година. Слышали вы, что грядет, и ныне в мире есть уже. Это о нем, о Сыне Погибели сказано: Уже пришел он к вратам двора. Скоро, скоро будет. Уж и не знаю, дождусь ли, увижу ли друга сердешненького, солнышко мое красное, благоверного царя феофора Алексеевича?

Хоть бы одним глазком взглянуть на него, как придет он в силе и славе, с неверными брань сотворит, и победит, и воссядет на престоле величества, и поклонятся, и воскликнут ему все народы: Осанна! Благословен грядый во имя Господне!

Глаза ее загорелись было, но тотчас вновь, как угли пеплом, подернулись прежнею мутною пленкою.

– Да нет, не дождусь, не увижу! Прогневил я, грешная, Господа... Чует, ох, чует сердце беду. Тошно мне, внучек, тошнехонько... И сны-то нынче снятся все такие недобрые, вещие...

Она оглянулась боязливо, приблизила губы к самому уху его и прошептала:

– Знаешь ли, внучек, что мне намедни приснилось?

Он сам, во сне ли, в видении ли, не ведаю, а только он сам приходил ко мне, никто другой, как он!

– Кто, царица?

– Не разумеешь? Слушай же, как тот сон мне приснился – может, тогда и поймешь. Лежу я, будто бы на этой самой постели и словно жду чего-то. Вдруг настезь дверь, и входит он. Я его сразу узнала. Рослый такой, да рыжий, а кафтанишка куцый, немецкий; во рту пипка, табачище тянет; рожа бритая, ус кошачий. Подошел ко мне, смотрит и молчит. И я молчу, что-то, думаю, будет. И тошно мне стало, скучно, так скучно – смерть моя... Перекреститься хочу – рука не подымается, молитву прочесть – язык не шевелится. Лежу как мертвая.

А он за руку меня берет, щупает. Огонь и мороз по спине. Взглянула я на образ, а и образ-то представляется мне разными видами; будто бы не Спасов лик пречистый, а немчин

поганный, рожа пухлая, синяя, точно утопленник... А он все ко мне: – Больна-де ты, говорит, Марфа Матвеевна, гораздо больна. Хочешь, я тебе моего дохтура пришлю? Да что ты на меня так воззрилась? Аль не узнала? – Как, говорю, мне тебя не узнать? Знаю. Мало ли мы таких, как ты, видывали! – Кто же-де я, говорит, скажи, коли знаешь? – Известно, говорю, кто. Немец ты, немцев сын, солдат барабанщик. – Осклабился во всю рожу, порскнул на меня, как кот шальной. – Рехнулась же ты, видно, старуха, совсем рехнулась! Не немец я, не барабанщик, а боговенчаный царь всея Руси, твоего же покойного мужа царя Феодора сводный брат. – Тут уже злость меня взяла. Так бы ему в морду и плюнула, так бы и крикнула: пес ты, собачий сын, самозванец, Гришка Отрепьев, анафема – вот ты кто! – Да ну его, думаю, к шуту. Что мне с ним браниться? И плюнуть-то на него не стоит. Ведь это мне только сон, греза нечистая попущением Божиим мерещится. Дуну, и сгинет, рассыплется. – Петр, говорит, имя мое. – Как сказал он: «Петр», так меня ровно что и осенило. Э, думаю, так вот ты кто!

Ну, погоди же. Да не будь дура, языком не могу, так хоть в уме творю заклиние святое: «Враг сатана! отгонись от меня в места пустыне, в леса густые, в пропасти земные, в моря бездонные, на горы дикие, бездомные, безлюдные, иде же не пресекает свет лица Господня! Рожа окаянная! изыде от меня в тартарар, в ад крошечный, в пекло преисподнее. Аминь! Аминь! Аминь! Рассыпья! Дую на тебя и плюю». Как прочитала заклятье, так он и сгинул, точно сквозь землю провалился – нет от него и следа, только табачищем смердит. Проснулась я, вскрикнула, прибежала Вахрамеевна, окропила меня пятой водою, окурила ладаном. Встала я, пошла в молельную, пала перед образом Владычицы Пречистой Влахернская Божией Матери, да как вспомнила и вздумала обо всем, тут только и уразумела, кто это был.

Царевич давно уже понял, что приходил к ней отец не во сне, а наяву. И вместе с тем чувствовал, как бред сумасшедшей передается ему, заражает его.

– Кто ж это был, царица? – повторил он с жадным и жутким любопытством.

– Не разумеешь? Аль забыл, что у Ефрема-то в книге о втором пришествии сказано: «во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего – Антихрист». Слышишь? Имя его – Петр. Он самый и есть!

Она уставила на него глаза свои, расширенные ужасом, и повторила задыхающимся шепотом:

Он самый и есть. Петр-Антихрист... Антихрист!

## КНИГА ТРЕТЬЯ ДНЕВНИК ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

### ДНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕЙМ

1 мая 1714 Проклятая страна, проклятый народ! Водка, кровь и грязь. Трудно решить, чего больше. Кажется, грязи. Хорошо сказал датский король: «ежели московские послы снова будут ко мне, построю для них свиной хлев, ибо где они постоят, там полгода жить никто не может от смрада». По определению одного француза: «Московит – человек Платона, животное без перьев, у которого есть все, что свойственно природе человека, кроме чистоты и разума».

И эти смрадные дикари, крещеные медведи, которые становятся из страшных жалкими, превращаясь в европейских обезьян, себя одних считают людьми, а всех остальных скотами. В особенности же к нам, немцам, ненависть у них врожденная, непобедимая. Они полагают себя оксверненными нашим прикосновением. Лютеране для них немногим лучше дьявола.

Ни минуты не осталась бы я в России, если бы не долг любви и верности к ее высочеству моей милостивой госпоже и сердечному другу, кронпринцессе Софии, Шарлотте. Что бы ни случилось, я ее не покину!

Буду писать этот дневник так же, как обыкновенно говорю, по-немецки, отчасти по-французски. Но некоторые шутки, пословицы, песни, слова указов, отрывки разговоров, рядом с переводом, буду сохранять и по-русски.

Отец мой – чистый немец из древнего рода саксонских рыцарей, мать – полька. За первым мужем, польским шляхтичем, долго жила она в России, недалеко от Смоленска, и хорошо изучила русский язык. Я воспитывалась в городе Торгау, при дворе польской королевы, где также было много московитов. С детства слышала русскую речь. Говорю плохо, не люблю этого языка, но хорошо понимаю.

Чтобы хоть чем-нибудь облегчить сердце, когда бывает слишком тяжело, я решила вести записки, подражая болтуну из древней басни, который, не смея вверить тайны своей людям, нащептал ее болотным тростникам. Я не желала бы, чтобы строки эти когда-либо увидели свет; но мне отраднее думать, что они попадутся на глаза единственному из людей, чье мнение для меня всего дороже в мире, – моему великому учителю, Готфриду Лейбницу.

\*\*\*

В то самое время, когда думала о нем, получила от него письмо. Просит разузнать о жалованье, которое следует ему в качестве состоящего на русской службе, тайного юстиц-рата<sup>2</sup>.

Боюсь, что никогда не увидит он этого жалованья.

Чуть не плакала от грусти и радости, когда читала письмо его. Вспоминала наши тихие прогулки, и беседы в галереях Залыцдаленского замка, в липовых аллеях Герренгаузена, где нежные зефиры в листьях и шелест фонтанов как бы вечно напевают нашу любимую песенку из *Mercure Galant*<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Юстиц-рат (Justizrat)-советник юстиции.

<sup>3</sup> *Mercure Galant* (франц.)-Любезный Меркурий [посланец]

Chantons, dançons, tout est tranquille  
Dans cet agreable sejour.  
Ah, ce charmant asil-!  
N'y parlens que de jeix, de plaisirs et d'amours.

Будем петь, танцевать, все безмятежно  
В этом чудесном месте.  
Ах, прелестный приют!  
Будем говорить здесь только об играх, о наслаждениях и о любви  
(франц.).

Вспоминала слова учителя, которым я тогда почти верила: «Я славянин, как и вы. Мы с вами должны радоваться, что в жилах наших течет славянская кровь. Этому племени принадлежит великая будущность. Россия соединит Европу с Азией, примирит Запад с Востоком. Эта страна – как новый горшок, еще не принявший чужого вкуса: как лист белой бумаги, на котором можно написать все, что угодно; как новая земля, которая будет вспахана для нового сева. Россия впоследствии могла бы пробогов – миф. j светить и самую Европу, благодаря тому, что избегла бы тех ошибок, которые у нас уж слишком вкоренились».

И он заключил с вдохновенной улыбкой: «Я, кажется, призван судьбою быть русским Соленом, законодателем нового мира. Овладеть умом одного человека, такого как царь, и устремить его к благу людей – значит больше, чем выиграть сотню сражений!» Увы, мой бедный, великий мечтатель, если бы вы знали и видели все, что я узнала и увидела в России!

Вот и сейчас, пока я пишу, печальная действительность напоминает мне, что я не в сладостном приюте Герренгаузена, этой немецкой Версали, а в глубине Московской Тартарии<sup>4</sup>.

Под окнами слышатся крики, вопли, ругательства: это дворовые люди соседки нашей, царевны Натальи Алексеевны, дерутся с нашими людьми. Русские бьют немцев.

Вижу, увы, на деле соединение Азии с Европою, Востока с Западом!

Прибежал наш секретарь, бледный, дрожащий, в разорванном платье, с окровавленным лицом. Увидев его, кронпринцесса едва не упала в обморок. Послали за царевичем. Но он болен своей обычною болезнью – пьян.

Мы живем во дворце кронпринца Алексея, мазанковом домике в два жилища с черепичною кровлею, на самом берегу Невы. Помещение так тесно, что почти весь придворный штат ее высочества расположился в трех соседних домах, нанятых Сенатом. В одном из них – ни дверей, ни окон, ни печей и никакой мебели. Ее высочеству пришлось отделать его на свой счет и пристроить конюшню.

Вчера вернулся владелец дома, некто Гидеонов, служащий у царевны Натальи, приказал выгнать наших людей и выбросил вещи во двор. Потом стал выводить из конюшни лошадей ее высочества и ставить туда своих.

Кронпринцесса велела сломать конюшню, дабы перенести ее на другое место. Но когда шталмейстер привел рабочих, Гидеонов послал туда своих людей, которые жестоко избили и прогнали наших. Шталмейстер грозил пожаловаться царю. Гидеонов отвечал, смеясь: «Жалуйтесь на здоровье, а я и раньше вас пожалуюсь!» Хуже всего то, что он уверяет, будто бы делает все по приказанию царевны. Эта царевна – старая дева, самое злое существо в мире. В глаза любезничает, а за спиной, всякий раз, как произносит имя ее высочества, плюет, приговаривая: «Эдакая немка! Фря! Что она себе воображает? А придется таки ей хвост поджать!» Итак, наши бедные конюхи живут под открытым небом. Во всем городе не нашлось бы для них помещения и за сто червонцев: такая здесь теснота. Когда об этом говорят царю, он отвечает, что

---

<sup>4</sup> От лат. Tartarus – подземное царство, ад.

через год будет довольно домов. Но тогда они уже не будут нужны, по крайней мере нашим людям, ибо, вероятно, большая часть их отправится на тот свет.

\*\*\*

В Европе не поверили бы, если бы узнали о бедности, в которой мы живем. Деньги, назначенные на содержание кронпринцессы, выдаются так неправильно и скудно, что их никогда не хватает. А между тем тут страшная дороговизна. За что в Германии платят грош, за то здесь четыре. Мы задолжали всем купцам, и они нам скоро перестанут верить. Не говоря уже о людях наших, мы иногда сами нуждаемся в свечах, дровах, в съестных припасах.

У царя ничего нельзя добиться, потому что ему все некогда. А царевич пьян.

– Свет исполнен горечи, – сказала мне сегодня ее высочество. – Начиная с самого детства, то есть с шестилетнего возраста, я не знаю, что такое радость, и не сомневаюсь, что судьба готовит мне еще большие несчастья в будущем...

Глядя вдаль, как будто уже видя это будущее, она повторяла: «мне не миновать беды!» – с таким безнадежным спокойствием, что я не находила слов для утешения, только молча целовала ей руки.

Раздался пушечный выстрел, и мы должны были спешить собираться на увеселительную прогулку по Неве – водяную ассамблею.

Здесь так заведено, что по выстрелу и флагам, вывешенным в разных концах города, все барки, верейки, яхты, торншхоуты и буеры должны собираться у крепости.

За неявку штраф.

Мы тотчас отправились на нашем буере с десятью гребцами и долго разъезжали с прочими лодками взад и вперед по Неве, постоянно следуя за адмиралом, не смея ни отставать, ни обгонять, тоже под штрафом – здесь штрафы на все.

Играла музыка – трубы и валторны. Звуки повторяло эхо крепостных бастионов.

Нам и без того было грустно. А холодная, бледно-голубая река с плоскими берегами, бледно-голубое, как лед, прозрачное небо, сверкание золотого шпица на церкви Петра и Павла, деревянной, выкрашенной в желтую краску, под мрамор, унылый бой курантов – все наводило еще большую грусть, особенную, какой никогда нигде я не испытывала, кроме этого города.

Между тем вид его довольно красив. Вдоль низкой набережной, убитой черными смолеными сваями, – бледнорозовые кирпичные дома затейливой архитектуры, похожие на голландские кирпичи, с острыми шпицами, слуховыми окнами на высоких крышах и огромными решетчатыми крыльцами. Подумаешь, настоящий город. Но тут же рядом – бедные лачужки, крЫтые дерном и берестою; дальше – топь да лес, где еще водятся олени и волки.

На самом взморье – ветряные мельницы, точно в Голландии. Все светло-светло, ослепительно и бледно, и грустно. Как будто нарисованное, или нарочно сделанное.

Кажется, спишь и видишь небывалый город во сне.

Царь, со всем своим семейством в особом буере, стоял у руля и правил. Царицы и принцессы в канифасных кофточках, красных юбках и круглых клеенчатых шляпах – все «на голландский манер» – настоящие саардамские корабельщицы. «Я приучаю семейство мое к воде, – говорит царь, – кто хочет жить со мною, тот должен бывать часто на море».

Он почти всегда берет их с собою в плаванье, особенно в свежую погоду, запирает наглухо в каюту и все лавирует против ветра, пока хорошенько не укачает их и, *salvo honore*, не вырвет – тут только он доволен!

Мы боялись, как бы не решили ехать в Кроншлот.

Участники одной из подобных прогулок в прошлом году не могут ее вспомнить без ужаса: застигнутые бурей, они едва не утонули, попали на мель, просидели несколько часов по пояс в воде, наконец, добрались до какого-то острова, развели огонь и совершенно голые – мокрое платье должны были снять – покрылись добытыми у крестьян, суровыми санными одеялами и так провели всю ночь, греясь у костра, без питья, без пищи, новые Робинзоны.

На этот, раз судьба нас помиловала; на адмиральском буере спущен был красный флаг, что означало конец прогулки.

Мы возвращались каналами, осматривая город.

Каналов здесь множество. «Если Бог продлит мне жизнь и здоровье, Петербург будет другой Амстердам!» хвастает царь. «Управить все, как в Голландии водится» – обычные слова указов о строении города.

У царя страсть к прямым линиям. Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможно было, он построил бы весь город по линейке и циркулю. Жителям указано «строиться линейно, чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось, но чтобы улицы и переулки были ровны и изрядны». Дома, выходящие за прямую линию, ломают безжалостно.

Гордость царя – бесконечно длинная, прямая, пересекающая весь город «Невская перспектива». Она совсем пустынна среди пустынных болот, но уже обсажена тощими липками в три, четыре ряда, и похожа на аллею.

Содержится в большой чистоте. Каждую субботу подметают ее пленные шведы.

Многие из этих геометрически правильных линий воображаемых улиц – почти без домов. Торчат только вежи. На других, уже обстроенных, видны следы плугов, борозды недавних пашен.

Дома возводятся, хотя из кирпичей, приготовленных «по Витрувиеву наставлению», но так поспешно и непрочно, что грозят падением. Когда проезжают по улице, они трясутся: болотистая почва – слишком зыбкая. Враги царя предсказывают, что когда-нибудь весь город провалится.

Один из наших спутников, старый барон Левенвольд, генеральный комиссар Лифляндии, человек любезный и умный, рассказывал много любопытного об основании города.

Для возведения первых земляных валов Петропавловской крепости нужна была сухая земля, а ее поблизости не было-все болотная тина да мох. Тогда придумали таскать к бастионам землю из дальних мест в старых кулях, рогожах и даже просто в полах платья. При этой Сизифовой работе две трети несчастных погибло, в особенности, вследствие безбожного воровства и мошенничества тех, кому поручено было содержать их. По целым месяцам не видали они хлеба, которого, впрочем, иногда и за деньги трудно достать в этом пустынном краю; питались капустой да репой, страдали поносом, цингой, пухли от голода, мерзли в землянках, подобных звериным норам, умирали как мухи. Сооружение одной лишь крепости на острове Веселом – Lust-Eiland (хорошо название!) стоило жизни сотне тысяч переселенцев, которых сгоняли сюда силою, как скот, со всех концов России.

Воистину, этот противоестественный город, страшный

Парадиз, как называет его царь, основан на костях человеческих!

Здесь ни с живыми, ни с мертвыми не церемонятся.

Мне собственными глазами случалось видеть на Съестном рынке, или у Гостиного двора, как мертвое тело рабочего, завернутое в рогожу, привязанное веревками к шесту, несут два человека, а много что везут на дровнях, совсем голое, на кладбище, где зарывают в землю, без всякого обряда. Бедняков умирает каждый день столько, что хоронить их по-христиански некогда.

Однажды, проезжая в лодке по Неве, в жаркий летний день, заметили мы на голубой воде серые пятна: то были кучи комариных трупов – в здешних болотах их множество. Они плыли из Ладожского озера. Один из наших гребцов зачерпнул их полную шляпу.

Слушая рассказы Левенвольда о строении Петербурга, я закрыла глаза, и мне представилось, что трупы людей, серых-серых, маленьких, бесчисленных, как эти кучи комариных трупов, плывут по Неве без конца – и никто их не знает, не помнит.

Вернувшись домой, села писать дневник в моей крошечной комнатке, настоящей птичьей клетке, в мезонине, под самую крышею.

Было душно. Я открыла окно. Запахло весенней водою, дегтем, сосновыми стружками. На самом берегу Невы двое плотников, молодой и старый, чинили лодку. Слышался стук молотков и протяжная, грустная песня, которую пел молодой очень медленно, повторяя все одно и то же. Вот несколько слов этой песни, насколько я могла их расслышать:

Как в городе, во Санктпитеере,  
Как на матушке, на Неве реке,  
На Васильевском славном острове,  
Молодой матрос корабли снастил.

Глядя на вечернее, бледно-зеленое, как лед, прозрачное и холодное небо Парадиза, я слушала грустную песню, подобную плачу, и мне самой хотелось плакать. 3 мая Сегодня ее высочество была у царицы, жаловалась на Гидеонова, просила также о более правильной выдаче денег. Я присутствовала при свидании.

Царица как всегда любезна.

– *Saarische Majestat Euch sehr lieb*, - сказала она, между прочим, кронпринцессе на своем ломаном немецком языке.

– Ей, ей, царское величество вас очень любит. Истинно, говорит, Катерина, твоя невестка зело пригожа, как станом, так и нравом. – Ваше величество, говорю, ты любишь свою дочь больше меня. – Нет, говорит, а сам смеется, не больше, но скоро буду так же любить. Сын мой, говорит, право, не стоит такой доброй жены.

Из этих слов мы могли понять, что царь не очень-то любит царевича.

Когда ее высочество, чуть не со слезами, стала просить за муж", царица обещала быть его заступницей, все с тою же любезностью, уверяя, что «любит ее, как свое родное дитя, и что если бы носила ее под сердцем, то не могла бы сильнее любить».

Не нравится мне эта русская приторность; боюсь, как бы тут не оказался мед на острие ножа.

Кажется, впрочем, и ее высочество себя не обманывает. Однажды при мне выразилась она, что царица «хуже всех»-pire que tout ie reste.

Сегодня, возвращаясь домой со свидания, заметила:

Она никогда не простит мне, если у меня родится сын.

Одна старая женщина из простого народа, когда зашла у нас речь о царице, шепнула мне на ухо: «Не подобает ей на царстве быть – ведь она не природная и не русская; и ведаем мы, как она в полон взята: приведена под знамя, в одной рубахе, и отдана под уарул; караульный, наш же офицер, надел на нее кафтан. Бог знает, какого она чина. Мыла, говорят, сорочки с чухонками».

Я вспомнила об этом сегодня, когда ее высочество, здороваясь с царицею, по придворному этикету, хотела поцеловать у нее платье. Правда, та не допустила этого – сама обняла и поцеловала ее. Но какая все-таки насмешка судьбы, что принцесса Вольфенбюттельская, наследница великих Вельфов, которые оспаривали корону у германских императоров еще в те дни, когда о Гогенцоллернах и Габсбургах никто не слышал, – целует платье у этой женщины,

мывшей белье с чухонками! 4 мая После теплых, как будто летних, дней, вдруг опять зима. Холод, ветер, мокрый снег с дождем. По Неве идет ладожский лед. Говорят, впрочем, что здесь выпадает снег и в июне.

Наш «дворец» доведен до такого запущения, что крыша оказалась дырявою, и сегодня ночью, во время сильного дождя, в спальне ее высочества текло с потолка, хорошо еще, что мимо постели. На полу образовалась лужа.

Потолок украшен аллегорической живописью: пылающий жертвенник, увитый розами; по бокам купидоны с двумя гербами – русским орлом и брауншвейгским конем; между ними две соединенные руки с надписью: «Non unquam junxit nobiliora tides. Никогда более благородных не соединяла верность». Как раз на жертвеннике выступило черное пятно от сырости, и с пламени Гименея капала грязная, холодная вода.

Припомнилась мне свадебная речь археолога Экгарта, в которой доказывалось, что жених и невеста происходят от Византийского императора Константина Порфирородного. Хороша страна, где каплет едва не на брачное ложе Порфирородной наследницы! 7 Мая Явился, наконец, кронпринц с другой половины дома, где живет отдельно от нас, так что мы не видим его иногда по целым неделям. Произошло объяснение. Я слышала все из соседней комнаты, где должна была остаться по желанию ее высочества.

На все ее просьбы и жалобы по Гидеоновскому делу, по невыдаче денег, он отвечал, пожимая плечами:

– Mich nichts angehen. Bekummere mich nicht an Sie.

Это меня не касается. Мне до вас дела нет!

Потом разразился упреками за то, что она, будто бы, наговаривает на него отцу.

– Как вам не стыдно? – заплакала ее высочество. Пощадите хоть собственную честь! В Германии нет такого сапожника или портного, который позволил бы так обращаться со своею женою...

– Вы в России, не в Германии.

– Я это слишком чувствую. Но если бы исполнено было все, что обещано...

– Кто обещал?

– Не вы ли сами, вместе с царем, подписывали брачный договор?

– Halten Maul! Ich Sie nichts versprochen. Заткните глотку! Ничего я вам не обещал. Вы отлично знаете, что мне навязали вас на шею!

Он вскочил и опрокинул стул, на котором сидел.

Я готова была броситься на помощь к ее высочеству.

Мне казалось, что он ее ударит. Я его так ненавидела в эту минуту, что, кажется, убила бы.

– Das danke Ihnen der Henker! Да наградит вас за палач! – воскликнула кронпринцесса, вне себя от гнева и горя.

С непристойным ругательством он вышел, хлопнув Дверью.

Кажется, в этом человеке воплотилось все дикое и подлое, что только есть в этой дикой и подлой стране.

Одного не могу решить, кто он в большей мере – дурак или негодяй?

Бедная, Шарлотта! – ее высочество, которая с каждым днем оказывает мне все большую дружбу не по заслугам, сама просила, чтобы я ее называла так, – бедная, Шарлотта! Когда я подошла к ней, она кинулась в мои объятия и долго не могла произнести ни слова, только вся дрожала. наконец, сказала, рыдая:

– Если бы я не была беременна и могла добрым путем возвратиться в Германию, я согласилась бы с радостью питаться там черствым хлебом и водою! Я почти с ума схожу от горя, не знаю, что говорю и делаю. Молю Бога, чтобы Он меня укрепил, и чтобы отчаянье не довело меня до чего-нибудь ужасного!

Потом прибавила уже с тихими слезами и с обычною покорностью, которая иногда меня пугает в ней больше всякого отчаянья:

– Я несчастная жертва семьи, которой не принесла Я ни малейшей пользы, а сама умираю от горя медленной смертью...

\*\*\*

Мы еще обе плакали, когда пришли сказать, что пора ехать на маскарад. Глотая слезы, мы стали наряжаться в маски. Таков здесь обычай: хочешь, не хочешь, а веселись, когда приказано.

Маскарад был на Троицкой площади, у кофейного дома, «австории», под открытым небом. Так как это место-низкое, болотистое, с никогда не просыхающей грязью, то часть площади устлали бревнами и сверху досками; образовался помост, на котором и толпились маски. К счастью, погода опять внезапно изменилась: вечер был тихий и теплый. Но к ночи с реки поднялся туман, густой-густой, белый, как молоко, и окутал всю площадь. Многие, особенно дамы, в слишком легких нарядах, простуживались от сырости, чихали и кашляли. Вместо лекарства поили их водкою. Гренадеры, по обыкновению, разносили ее в ушатах. В белом облаке тумана, освещенного зеленоватым светом долгой зари – позже, в июне здесь зоря во всю ночь – все эти маски – арлекины, скарамуши, паяцы, пастушки, нимфы, китайцы, арабы, медведи, журавли, драконы – казались смешными и страшными призраками.

Тут же, рядом с помостом, где мы танцевали, виднелись черные кольца с железными спицами, на которых торчали мертвые, почти истлевшие головы казненных.

В смолистом запахе весенней хвои, березовых почек, которым теперь наполнен весь город, чудился мне смрад этих голов. И опять казалось, как постоянно здесь кажется, – что все это сон. Ч 6 мая Неожиданное примирение. Подойдя к полуоткрытой двери в комнату ее высочества, я увидела нечаянно в зеркале, что она сидит в кресле, а кронпринц, наклонившись к ней и держа голову ее обеими руками, целует в лоб с почтительной нежностью. Я хотела было скрыться, но она, заметив меня тоже в зеркале, сделала мне знак рукою.

Я поняла, что она приказывает мне остаться в соседней комнате. Бедняжке хотелось, должно быть, похвастать своим счастьем.

– Der Mensch, der sagen, ich Sie nicht liebe habe, lugt wie Teuffel! Кто говорит, что я вас не люблю, лжет, как дьявол! – говорил царевич, как я догадалась, об одной из тех презренных сплетен насчет ее высочества, которых здесь ходит множество (ее обвиняют даже в измене мужу). – Я вам верю, знаю, что вы добрая, а те, кто говорит о вас дурно, не стоят вашего мизинца...

Он расспрашивал ее о делах, неприятностях, об ее здоровье, беременности, с таким участием, и слова, и черты его лица полны были таким умом и добротой, что, казалось, предомню совсем другой человек. Я глазам и ушам своим не верила, вспоминая то, что вчера еще происходило в этой самой комнате.

Когда он ушел и мы остались одни, Шарлотта сказала мне:

– Удивительный человек! Он вовсе не то, чем кажется.

Никто его не знает. Как он любит меня! Ах, милая Юльяна, только бы любовь – и все хорошо, все можно вынести... Когда у меня родится ребенок – молю Бога, чтоб сын – я буду совсем счастлива!

Я не возражала; у меня не хватило бы духу разуверить ее; она была уже и теперь так счастлива. Надолго ли? Бедная, бедная! может быть, я несправедлива к царевичу? Может быть, действительно, «не то, чем кажется?» Это самый скрытный из людей. Когда не пьян, сидит, запершись со своими старыми книгами и рукописями; изучает, говорят, всемирную историю,

теологию, не только русскую, но и католическую и протестантскую; раз восемь, будто бы, прочел немецкую Библию; или беседует с монахами, странниками, старцами, людьми самого низкого звания.

Один из его служителей, Федор Эварлаков, молодой человек, не глупый и тоже большой любитель чтений берет у меня всякие книги, даже латинские – сказал мне однажды о кронпринце слова, которые я тогда же Написала по-русски, в памятную книжку, подарок Лейбница, которую всегда ношу с собою:

– Царевич имеет великое горячество к попам, и попы к нему, и почитает их, как Бога; а они его все святым называют, и в народе ж ими всегда блажим.

Помню, Лейбниц мне рассказывал, что, представившись царевичу, летом 1711 года в Вольфенбюттеле, в герцогском замке, долго беседовал с ним о своем любимом предмете – соединении Востока с Западом, Китая и России с Европою – и затем прислал ему, через его воспитателя, барона Гюйссена, извлечение из писем о китайских делах. Лейбниц утверждал, что, наперекор всему, что говорят о царевиче, он очень умен; но ум у него совсем иной, чем у отца. «Должно быть, в деда», – заметил Лейбниц.

Ее высочество показывала мне копию с письма Королевской Берлинской Академии Наук к герцогу Людвигу Рудольфу Вольфенбюттельскому, отцу Шарлотты.

В письме этом говорится о предстоящей возможности распространить истинное христианское просвещение в России, «благодаря особой и чрезвычайной склонности наследного принца к наукам и книгам».

Видела я также отчет о заседании той же Берлинской Академии в 1711 году, где один из членов ее, конректор Фриш, заявил: наследник царя еще больше любит науки, чем сам царь, и будет им в свое время не меньше покровительствовать.

Странно! Когда я сегодня смотрела на них обоих в зеркале, – точно в волшебном «зеркале гаданий», – мне почудилось в этих двух лицах, таких различных, одна черта сходства – тень какой-то предчувственной грусти, как будто оба они жертвы, и обоим предстоит великое страдание. Или это мне только так показалось в темном зеркале? 8 мая Присутствовали в Адмиралтействе при спуске большого семидесятипушечного корабля. Царь, одетый, как простой плотник, в красной вязаной фуфайке, запачканной дегтем, с топором в руках, лазил между подпорками под самый киль, осматривая, все ли в порядке, не обращая внимания на опасность – недавно, при спуске, два человека были убиты. «Тружусь, как Ной, над ковчегом России», – припомнились мне слова царя. Сняв шляпу перед великим адмиралом, как подчиненный перед начальником, он спросил, пора ли начинать, и получив приказание, сделал первый удар топором. Сотни других топоров начали рубить подпорки; в то же время снизу отдернули балки, державшие корабль со всех сторон на штапеле. Он скользил с намазанных жиром полозьев, сначала медленно, потом полетел, как стрела, так что полозья сломались вдребезги, и поплыл по воде, качаясь и впервые рассекая волны, при громе музыки, пушечной пальбы и кликах народа.

Мы сели на шлюпки и поехали на новый корабль. Царь был уже там. Переодевшись в мундир морского шаутбенахта – чин, в котором он теперь состоит – со звездой и голубою орденскою лентою через плечо, принимал он гостей. Стоя на палубе, окрестили новорожденного первым кубком вина. Царь произнес речь. Вот отдельные слова, которые мне припоминаются:

– Наш народ, как дети, которые за азбуку не примутся, пока приневолены не будут, и которым сперва досадно кажется, а как выучатся, то благодарят, – что ясно из всех нынешних дел: не все ли невольно сделано? и уже благодарение слышится за многое, от чего и плод произошел. Не приняв горького, не видать и сладкого...

– Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом! заметил один из шутов, старых бояр, должно быть, уже пьяный, своему соседу на ухо, шепотом, как раз у меня за спиной.

– Имеем, – продолжал царь, – образцы других просвещенных в Европе народов, которые также начинали с малого. Пора и нам за свое приниматься, сперва за малое, а потом будут люди, кои не оставят и великих дел. Ведаю, что сам не совершу и не увижу сего, ибо долгота дней ненадежна. – однако начну, да будет другим после меня легче сделать. А с нас довольно ныне и сей единой славы, что мы начинаем...

Я любовалась царем. Он был прекрасен.

Спустились в каюты. Дамы сели отдельно от кавалеров, в смежной зале, куда во время пира не смел входить НИКТО из мужчин, кроме царя. В перегородке, разделявшей обе залы, было небольшое, круглое, задернутое красною тафтою, оконце, вроде люка. Я села рядом с ним;

Приподымая занавеску, я могла видеть и отчасти слышать и то, что происходило в мужском отделении. Кое-что по обыкновению записывала тут же в памятную книжку.

Длинные узкие столы, расположенные в виде подковы, уставлены были холодными закусками, острыми соленьями и копченьями, возбуждающими жажду. Еда дешевая, вина дорогие. На подобные празднества царь выдает из собственной казны Адмиралтейству тысячу рублей – по-здешнему, деньги огромные. Садилась, как попало, без соблюдения чинов, простые корабельщики рядом с первыми сановниками. На одном конце стола восседал шутовской князь-папа, окруженный кардиналами. Он возгласил торжественно:

– Мир и благословение всей честной кумпании! Во имя Отца Бахуса, и Сына Ивашки Хмельницкого, и Духа Винного причащайтесь! Пьянство Бахусово да будет с вами!

– Аминь! – ответил царь, исполнявший при папе должность протодьякона.

Все по очереди подходили к его святейшеству, кланялись ему в ноги, целовали руку, принимали и выпивали большую ложку перцовки: это чистый спирт, настоянный на красном индийском перце. Кажется, чтобы вынудить у злодеев признание, достаточно пригрозить им этой ужасной перцовкой. А здесь ее должны пить все, даже дамы.

Пили за здоровье всех членов царской семьи, кроме царевича с супругою, хотя они тут же присутствовали.

Каждый тост сопровождался пушечным залпом. Палили так, что стекла на одном окне разбились.

Пьянели тем скорее, что в вино тайком подливали водку. В низких каютах, набитых народом, стало душно.

Скидывали камзолы, срывали друг с друга парики насильно. Одни обнимались и целовались, другие ссорились, в особенности, первые министры и сенаторы, которые уличали друг друга во взятках, плутовствах и мошенничествах.

– Ты имеешь метреску, которая тебе\* вдвое коштует против жалованья! – кричал один. Коштует – стоит (от нем. kosten – стоить).

– А рыжечки маленькие в сулеечке забыл?-возражал другой.

Рыжечки были червонцы, преподнесенные ловким просителем в бочонке, под видом соленых грибов.

– А с пенькового постава в Адмиралтейство сколько хапнул?

– Эх, братцы, что друг друга корить? Всяка жива душа калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут!

– Взятки не что иное, как акциденция – Ничего не брать с просителей есть дело сверхъестественное.

Акциденция (лат. *accidentia* – случай) – Однако, по закону...

– Что закон? – дышло. Куда хочешь, туда и воротишь..

Царь слушал внимательно. Таков у него обычай: когда уже все пьяно, ставится двойная стража у дверей с приказом не выпускать никого; в то же время царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не пьянел, нарочно ссорит и дразнит своих приближенных; из пьяных пере-

бранок часто узнает то, чего никогда иначе не узнал бы. По пословице: когда воры бранятся, крестьянин получает краденый товар. Пир становится розыском.

Светлейший князь Меншиков поругался с вице-канцлером Шафировым. Князь назвал его жидом.

– Я жид, а ты пирожник – «пироги подовые»! возразил Шафиров. – Отец твой лаптем щи хлебал. Изпод бочки тебя тащили. Недорогой ты князь – взят из грязи да посажен в князи!..

– Ах ты, жид пархатый! Я тебя на ноготок да щелкну, только мокренько будет...

Долго ругались. Русские вообще большие мастера на ругань. Кажется, такого сквернословия, как здесь, нигде не услышишь. Им заражен воздух. В одном из ругательств, и самом позорном, которое, однако, употребляют все от мала до велика, слово мать соединяется с гнуснейшими словами. Оно так и называется матерным словом. И этот народ считает себя христианнейшим!

Истошив ругательства, вельможи стали плевать друг другу в лицо. Все стояли кругом, смотрели и смеялись.

Здесь подобные схватки – обычное дело и кончаются без всяких последствий.

Князь Яков Долгорукий подрался с князем-кесарем ромодановским. Эти два почтенные, убеленные сединами, старца, ругаясь тоже по-матерному, вцепились друг другу в волосы, начали душить и бить друг друга кулаками. Когда стали разнимать их, они выхватили шпаги.

– Ei, dat ist nitt parmittet! – крикнул по-голландски царь, подходя и становясь между ними.

Протодьякон Петр Михайлов имеет от папы указ: «во время шумства унимать словесно и ручно».

– Сатисфакции требую! – вопил князь Яков. – Учinen мне великий афронт...

– Камрат, – возразил царь, – на князя-кесаря где сыскать управы, кроме Бога? Я ведь и сам человек подневольный, у его величества в команде состою. Да и какой афронт? Ныне вся кумпаня от Бахуса не оскорблена. auffen – gauffen, напьемся – подеремся, проспимся – помиримся.

Врагов заставили выпить штраф перцовкою, и скоро они вместе свалились под стол.

Шуты галдели, гоготали, блевали, плевали в лицо не только друг другу, но и порядочным людям. Особый хор, так называемая весна, изображал пение птиц в лесу, от соловья до малиновки, разными свистами, такими громкими, что звук отражался от стены оглушающим эхом.

Раздавалась дикая плясовая песня с почти бессмысленными словами, напоминавшими крики на шабаше ведьм.

Ой, жги, ой, жги,  
Шинь-пень, шиваргань  
Бей трепака,  
Не желей каблука!

В нашем дамском отделении, пьяная старая баба-шутиха, князь-игуменья Ржевская, настоящая ведьма, тоже пустилась в пляс, задрав подол и напевая хриплым с перепоя голосом:

Заиграй, моя дубинка,  
Заваляй, моя волынка!  
Свекор с печки свалился,  
За колоду завалился.

Кабы знала, возвестила,  
Я повыше б подмостила,

Я повыше б подмостила,  
Свекру голову сломила.

Глядя на нее, царица, со сбившейся набок прическою, Вся потная, красная, пьяная, прихлопывала, притоптывала: «ой, жги! ой, жги!» и хохотала, как безумная. В начале попойки приставала она к ее высочеству, убеждая пить довольно странными пословицами, которых на этот счет у русских множество: «Чарка на чарку – не палка на палку. Без поливки и капуста сохнет. И курица пьет», Но, видя, что кронпринцессе почти дурно, сжалилась, оставила ее в покое и даже потихоньку сама подливала ей, а кстати и нам, фрейлинам, воды в вино, что на подобных пирах считается великим преступлением.

В конце ночи – мы просидели за столом от шести часов вечера до четырех утра – несколько раз подходила царица к дверям, вызывая царя и спрашивая:

– Не пора ли домой, батюшка?

– Ничего, Катенька! Завтра день гулящий, – отвечал царь.

Приподымая занавеску и заглядывая в мужское отделение, я видела каждый раз что-нибудь новое.

Кто-то, шагая прямо через стол, попал сапогом в блюдо с рыбным студнем. Этот самый студень царь только что совал насильно в рот государственному канцлеру Головкину, который терпеть не мог рыбы; денщики держали его за руки и за ноги; он бился, задыхался и весь побагровел. Бросив Головкина, царь принялся за ганноверского резидента Вебера; ласкал его, целовал, одною рукою обнимал ему голову, другою – держал стакан у рта, умоляя выпить. Потом, сняв с него парик, целовал то в затылок, то в маковку; подымал ему губы и целовал в десны.

Говорят, причиной всех этих нежностей было желание царя выпытать у резидента какую-то дипломатическую тайну.

Мусин-Пушкин, которого щекотали под шеей – он очень боится щекотки, а царь приучает его к ней – визжал, как поросенок под ножом. Великий адмирал Апраксин плакал навзрыд. Тайный советник Толстой ползал на четвереньках; он, впрочем, как оказалось впоследствии, не был слишком пьян и притворялся, чтобы больше не пить.

Вице-адмиралу Крюйсу раскроили голову бутылкою. Князь Меншиков упал замертво со страшно посиневшим лицом: его растирали и приводили в чувство, чтобы он не умер: на таких попойках часто умирают. Царского духовника, архимандрита Федоса, рвало. «Ох смерть моя! Матерь Пресвятая Богородица!» – жалобно стонал он. Князь-папа храпел, навалившись всем телом на стол. лицом в луже вина.

Свист, рев, звон разбитой посуды, матерная брань оплеухи, на которые уже никто не обращал внимания – стояли в воздухе. Смерд, как в самом грязном кабаке.

Кажется, если бы прямо со свежего воздуха привели когонибудь сюда, его сразу стошнило бы.

У меня в глазах темнело; иногда я почти теряла сознание. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя – широкое, Округлое, с немного косым разрезом больших, выпуклых, точно выпученных, глаз, с торчащими кверху острыми усиками – лицо огромной хищной кошки или тигра. Оно было спокойно и насмешливо. Взор ясен и пронизателен.

Он один был трезв и с любопытством заглядывал в самые гнусные тайны, обнаженные внутренности человеческих душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застенке, где орудием пытки было вино.

Князя-папу разбудили и подняли со стола. Под столом князь-кесарь тоже успел выспаться. Их заставили вдвоем друг против друга плясать, поддерживая под руки, так как оба едва стояли на ногах. Папа в шутовской тиаре, венчанный голым Вакхом, имел в руке

крест из Чубуков. Кесарь – в шутовской короне, со скипетром в руке. Царевич лежал на полу, совершенно пьяный, как мертвый, между этими двумя шутами, двумя призраками Древнего величия – русским царем и русским патриархом.

Что было потом, не помню, да и вспоминать не хочу – слишком гадко.

На соседних кораблях пробили зорю. И у нас послышался звук барабана: сам царь – он отличный барабанщик – бил отбой. Это значило: "с Ивашкой Хмельницким (русским Вакхом) была великая баталия, и он всех победил. Гренадеры выносили на руках пьяных вельмож, как тела убитых с поля сражения.

Когда мы увидели небо, нам показалось, что мы выходим, говоря высоким слогом, из ада, а низким – из помойной ямы. 9 мая Сегодня царь с большим флотом выехал из Петербурга для военных действий против шведов. 20 мая Давно не писала дневника. Ее высочество была больна после попойки. Я от нее не отходила. Да и что писать?

Все так печально, что говорить и думать не хочется. Будь что будет. 25 мая Я не ошиблась. Мир оказался недолгим. Опять пробежала черная кошка между царевичем и ее высочеством; опять по целым неделям не видятся. Он тоже болен. Доктора говорят, чахотка. Я думаю, просто водка. 4 июня Пришел царевич, одетый по-дорожному, в сером немецком рейзероке, поговорил о чем-то постороннем и вдруг объявил:

– Adieu. Ich gehe nach Karlsbad[5].

Кронпринцесса так растерялась, что не нашлась, что сказать, даже не спросила, надолго ли. Я думала, он шутит. Но оказалось, почти тотчас, выйдя от нас, царевич сел в почтовую карету – и был таков. Говорят, в самом деле, едет на воды лечиться.

И вот мы одни, без царя и царевича.

Родители ее высочества, должно быть, поверив глупым здешним сплетням, рассердились на нее и тоже перестали ей писать. Мы покинуты всеми. 7 июля Письмо царя к ее высочеству:

"Я бы не хотел вас трудить також против совести моей думать; но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лятество необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь.

И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящше года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер гр. Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были".

Учинили анштальт: приставили к ее высочеству трех почти незнакомых ей женщин, канцлершу Головкину, генеральшу Брюс да старую бабу-шутиху, князь-игуменью Ржевскую, ту самую, что плясала во время попойки. Эти три мегеры не спускают с нее глаз, «охраняют» или попросту шпионят.

Что все это значит? Чего боятся? Какого обмана?

Неужели подмены ребенка, девочки мальчиком, по проискам тех, кто желает утвердить наследство за родом царевича? Или это чрезмерная любезность царицы?

Теперь мы только поняли, как подозревают и ненавидят нас. Вся вина Шарлотты в том, что она – жена мужа своего. Отец против сына, а мы между них, как между двух огней.

«Послушно исполню волю-вашего величества о назначении трех женщин для моей охраны, – ответила Шарлотта царю, – тем более, что мне и на ум никогда не приходило намерение обмануть ваше величество и кронпринца; по сему столь странное и мною незаслуженное распоряжение мне весьма огорчительно. Казалось бы, многократно обещанные милость и любовь вашего величества должны были служить мне залогом, что никто не обидит меня клеветою, и что виновные будут наказаны, как преступники. Прискорбно, что мои завистники и преследователи имеют довольно силы к подобной интриге. Бог моя надежда на чужбине. И как всеми я покинута. Он услышит мои сердечные вздохи и сократит мои страданья!» 12 июля.

В 7 часов утра ее высочество благополучно разрешилась от бремени дочерью.

О царевиче ни слуху, ни духу. 1 августа Получено известие о победе русских над шведами 27 июля при Гангуте; взята, будто бы, в плен целая эскадра шаутбенахтом Эрншильдом. Весь день трезвон в колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, не жалеют пороха, и по поводу самых ничтожных побед, захватив три, четыре гнилые галеры, так палят, как будто мир побежден. 9 сентября Царь вернулся в Петербург. Опять пальба, точно в осажденном городе. Мы почти оглохли. Бесконечные триумфальные шествия, фейерверки с хвастливыми аллегориями: царь прославляется, как завоеватель вселенной, Цезарь и Александр. Была попойка, на которой, слава Богу, нас не было. Опять, говорят, напильсь, как свиньи. 13 сентября Дождь, слякоть. В окнах – низкое, темное, точно каменное, небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают.

Тоска, тоска!

19 сентября Застала кронпринцессу плачущей над старыми письмами царевича, которые он писал женихом. Кривые бессвязные буквы на протянутых карандашом линейках.

Пустые комплименты, дипломатические любезности. И она над ними плачет, бедняжка!

Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбаде incognito; сюда вернется не раньше зимы. 20 сентября Чтобы забыться, не думать о наших делах, решила записывать все, что вижу и слышу о царе.

Прав Лейбниц: «Quanto magis hujus Principis indolem prospicio, tanto earn magis admiror. Чем больше наблюдаю нрав этого государя, тем больше ему удивляюсь». 1 октября Видела, как царь в адмиралтейской кузнице ковал железо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували меха, носили уголья, марая шелк и бархат шитых золотом кафтанов.

– Вот оно – царь так царь! Даром хлеба не ест. Лучше бурлака работает! – сказал один из стоявших тут простых рабочих.

Царь был в кожаном переднике, волосы подвязаны бечевкою, рукава засучены на голых, с выпуклыми мышцами, руках, лицо запачкано сажею. Исполинского роста кузнец, освещенный красным заревом горна, похож был на подземного титана. Он ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались дождем, наковальня дрожала, гудела, как будто готовая разлететься вдребезги.

– Ты хочешь, государь, сковать из Марсова железа новую Россию; да тяжело молоту, тяжело и наковальне! вспомнились мне слова одного старого боярина.

«Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, не удобно кованию будет», – говорит царь.

И, кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если б и хотел, то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочною деятельностью, невероятным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говорят, что силы его надорваны, и что он проживет недолго. Постоянно лечится железными Олонецкими водами, но при этом пьет водку, так что лечение только во вред.

Первое впечатление при взгляде на него – стремительность. Он весь – движение. Не ходит, а бегаёт. Цесарский посол ' граф Кинский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласился бы лучше выдержать несколько Сражений, нежели пробыть у царя два часа на аудиенции, ибо должен, при тучности своей, бегать за ним во все это время, так что весь обливается потом, даже в русский мороз. «Время яко смерть, – повторяет царь. – Пропущение времени смерти невозвратной подобно».

\*\*\*

Его стихии – огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них: воду – как рыба, огонь – как Саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам. Всегда сам их зажигает, лезет в огонь; однажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что приучает подданных к огню сражений. Но это только предлог: он просто любит огонь.

Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели моря, он затосковал о нем еще ребенком в душных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам. А как достиг до моря, то уже не расставался с ним. Большую часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда стоит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом в стергофе, в огромных садах ему душно; Устроил себе мыльню в Монплеzure, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива; окна спальни прямо на море. В Петербурге Подзорный дворец построен весь в воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в Летнем саду также окружен водою с двух сторон: ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции.

Однажды зимою, когда Нева уже стала и только перед дворцом оставалась еще полынья окружностью не больше сотни шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной гичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной пространство, шагов сто в длину, тридцать в ширину, каждый день сметать с него снег, и я сама видела, как он катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. «Мы, говорит, плаваем по льду, чтоб и зимою не забыть морских экзерциций». Даже в Москве, на Святках, катался раз по улицам на огромных санях, подобии настоящих кораблей с парусами. Любит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицею. И как радуется их радости! Точно сам он водяная птица.

\*\*\*

Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание летописца Нестора о морском походе киевского князя Олега под Царьград. Если так, то он воскрешает в новом древнее, в чужом родное. От моря через сушу к морю – таков путь России.

Иногда кажется, что в нем слились противоречия двух родных ему стихий – воды и огня – в одно существо, странное, чуждое – не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское – но нечеловеческое.

\*\*\*

Дикая застенчивость. Я видела сама, как на пышном приеме посллов, сидя на троне, он смущался, краснел, потел, часто для бодрости нюхал табак, не знал, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы; когда же церемония кончилась, и можно было сойти с трона, рад был, как школьник. Маркграфиня Бранденбургская рассказывала мне, будто бы при первом свидании с нею царь – правда тогда совсем еще юный – отвернулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и только повторял одно: «Je ne sais pas m'exprimer. Я не умею говорить...» Скоро, впрочем, оправился и сделался даже слишком развязным; пожелал убедиться собственноручно, что не от природной костлявости немом зависит жесткость их талий, удивлявшая русских, а от рыбьего уса в корсетах. «Il pourrait etre un peu plus poli! Он бы мог быть повежливее!»-заметила маркграфиня. Барон Мантейфель передавал мне о свидании царя с короле-

вою прусскою: «Он был настолько любезен, что подал ей руку, надев предварительно довольно грязную перчатку. За ужином превзошел себя: не ковырял в зубах, не рыгал и не производил других неприличных звуков (il n'a ni rote ni pete)».

Путешествуя по Европе, требовал, чтоб никто не смел смотреть на него, чтоб дороги и улицы, когда он проезжал по ним, были пусты. Входил и выходил из домов потайными ходами. Посещал музеи ночью. Однажды в Голландии, когда ему нужно было пройти через залу, где заседали члены Генеральных, Штатов, – просил, чтобы президент велел им повернуться спиною; а когда те, из уважения к царю, отказались, – стащил себе на нос парик, быстро прошел через залу, прихожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по каналу и видя, что лодка с любопытными хочет приблизиться, – пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчего две пустые бутылки и едва не раскроил ему черепа. Настоящий дикарьканнибал. В просвещенном европейце – русский леший.

Дикарь и дитя. Впрочем, все вообще русские – дети.

Царь среди них только притворяется взрослым. Никогда не забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбюттеля герой Полтавы ездил верхом на деревянных лошадках дрянной карусели, ловил медные кольца палочкой и забавлялся, как маленький мальчик.

Дети жестоки. Любимая забава царя – принуждать людей к противоестественному: кто не терпит вина, масла, сыра, устриц, уксуса, тому он, при всяком удобном случае, наполняет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекотки. Многие, чтоб угодить ему, нарочно притворяются, что не выносят того, чем он любит дразнить.

Иногда эти шутки ужасны, особенно во время святочных попоек, так называемого славления. «Сия потеха Святок, – говорил мне один старый боярин, – так происходит трудная, что многие к тем дням приуготовляются, как бы к смерти». Таскают людей на канате из проруби в прорубь. Сажают голым задом на лед. Спаивают до Смерти.

Так, играя с людьми, существо иной породы, фавн Или кентавр, калечит их и убивает нечаянно.

В Лейдене, в анатомическом театре, наблюдая, как пропитывают терпентином обнаженные мускулы трупа и заметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутников, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускул от трупа.

Иногда почти невозможно решить, где в этих шутках кончается детская резвость и начинается зверская лютость.

Вместе с дикою застенчивостью – дикое бесстыдство, особенно с женщинами.

«Il faut que Sa Majeste ait dans ie corps une legion de demons de luxure. Мне кажется, что в теле его величества – целый легион демонов похоти», – говорит лейб-медик Блюментрост. Он полагает, что «скорбутика» царя происходит от другой застарелой болезни, которую получил он в ранней молодости.

По выражению одного русской) из новых, у царя – «политическое снисхождение к плотским грехам». Чем больше грехов, тем больше рекрут – а они ему нужны.

Для него самого любовь – «только побуждение натуры».

Однажды в Англии, по поводу жалобы одной куртизанки, недовольной подарком в пятьсот гиней, он сказал Меншикову: «Ты думаешь, что и я такой же мот, как ты? За пятьсот гиней у меня служат старики с усердием и умом; а эта худо служила – сам знаешь чем!» Царица совсем не ревнива. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с любезностью: «ты все-таки лучше всех, Катенька!» О денщиках царя ходят странные слухи. Один из них, генерал Ягужинский, угодил, будто бы, царю такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавец Лефорт, по слову одного здешнего старичка-любезника, находился у царя «в столь крайней конфиденции интриг амурных», что они имели общую любовницу. Говорят, и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовницей Меншикова, который заменил Лефорта. Меншиков, этот «муж из подлости происшедший», который, по изречению самого царя, «в без-

законии зачат, во грехах рожден матерью и в плутовстве скончает живот свой», – имеет над ним почти непонятную власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет ногами; кажется, всему конец; а глядишь – опять помирились и целуются. Я собственными ушами слышала, как царь называл его своим «Алексашеею миленьким», «дитятком сердешненьким» (sein Herzenkind), и тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда, во хмелю, сказал царевичу: «Не видать тебе короны, как ушей своих. Она моя!» 8 октября Сегодня хоронили одну голландскую купчиху, страдавшую водянкою. Царь собственноручно сделал ей операцию, выпустил воду. Она, говорят, умерла не столько от болезни, сколько от операции. Царь был на похоронах и на поминках. Пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда носит готовальню с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скрывают их, чтоб царь не начал их резать. Какое-то болезненное анатомическое любопытство. Не может видеть трупа без вскрытия. Ближайших родных своих после смерти анатомирует.

Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии у площадных зубодеров. В здешней кунсткамере целый мешок вырванных им гнилых зубов.

Циничное любопытство к страданиям и циничное милосердие. Своему пажу арапчонку собственноручно вытянул глисту.

Во всем существе – сочетание силы и слабости. Это и в лице: страшные глаза, от одного взора которых люди падают в обморок, глаза слишком правдивые; и губы тонкие, нежные, с лукавой усмешкой, почти женские. Подбородок мягкий, пухлый, круглый, с ямочкой.

О простреленной при Полтаве шляпе нам прожужжали уши. Я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенно в победе. Впрочем, все победители храбры. Но так ли он всегда был храбр, как это кажется?

Саксонский инженер Галларт, участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывал мне, что царь, узнав о приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де-Круи, с инструкцией, наскоро написанной, без числа, без печати, совершенно будто бы нелепою (nicht gehauen, nicht gestochen), а сам удалился в «сильном расстройстве».

У пленного шведа, графа Пиппера я видела медаль, выбитую шведами: на одной стороне царь, греющийся при огне своих пушек, из коих летят бомбы на осажденную Нарву; надпись: Петр стоял у огня и грелся – с намеком на апостола Петра во дворе Каиафы; на другой – русские, бегущие от Нарвы и впереди Петр; царская корона валится с головы, шпага брошена; он утирает слезы платком; надпись гласит: вышел вон, плакал горько.

Пусть все это ложь; но почему об Александре или Цезаре так и солгать никто не посмел бы?

И в Прутском походе случилось нечто странное: в самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско, с тою целью, чтобы вернуться со свежими силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. «Никогда, – писал он Сенату, как я начал служить, в такой дисперсии не были». Это ведь тоже почти значит: «вышел вон, плакал горько».

Блюментрост говорит – а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки – будто бы царь не выносит никакой телесной боли. Во время тяжелой болезни, которую считали смертельною, он вовсе не был похож на героя.

«И не можно думать, – воскликнул при мне один русский, прославлявший царя, – чтобы великий и неустрашимый герой сей боялся такой малой гадины – тараканов!» Когда царь путешествует по России, то для его ночлегов строят новые избы, потому что трудно в русских деревнях отыскать жильё без тараканов. Он боится также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала, как, при виде таракана, он весь побледнел, задрожал, лицо исказилось – точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел; кажется, еще немного, и с ним сделался бы обморок или припадок, как с трусливою женщиною.

Если бы пошутили с ним так, как он шутит с другими – пустили бы ему на голое тело с полдюжины пауков или тараканов – он, пожалуй, умер бы на месте, и уж, конечно, историки не поверили бы, что победитель Карла XII умер от прикосновения тараканьих лапок.

Есть что-то поразительное в этом страхе царя исполина, которого все трепещут, перед крошечной безвредной тварью. Мне вспомнилось учение Лейбница о монадах: как будто не физическая, а метафизическая, первозданная природа насекомых враждебна природе царя. Мне был не только смешон, но и страшен страх его: точно я вдруг заглянула в какую-то древнюю-древнюю тайну.

\*\*\*

Когда однажды в здешней кунсткамере ученый немец показывал царице опыты с воздушным насосом, и под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задыхавшаяся птичка шатается и бьется крыльями, сказал:

– Полно, не отнимай жизни у твари невинной; она – не разбойник.

– Я думаю, детки по ней в гнезде плачут! – прибавила царица; потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну и пустила на волю.

Чувствительный Петр! Как это странно звучит. А между тем, в тонких, нежных, почти женственных губах его, в пухлом подбородке с ямочкой, что-то похожее на чувствительность так и чудилось мне в ту минуту, когда царица говорила своим сладким голосом с жеманно-приторной усмешечкой: «детки по ней в гнезде плачут!» Не в этот ли самый день издан был страшный указ:

«Его Царское Величество усмотреть соизволил, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри выняты малознатны; того ради Его Царское Величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, – везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатны».

Или другой указ в Адмиралтейском Регламенте:

«Ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет».

\*\*\*

Жесток ли он? Это вопрос.

«Кто жесток, тот не герой» – вот одно из тех изречений царя, которым я не очень верю: они слишком – для потомства. А ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, он замучил сестру, Царевну Софью. мучает жену и, кажется, замучает сына.

Первую жену – Евдокию Лопухину.

\*\*\*

Так ли он прост, как это кажется? Тоже вопрос. Знаю, сколько нынче ходит анекдотов о саардамском царе-плотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать без скуки: уж слишком все они нравоучительны, похожи на картинки к прописям.

«Verstellte Einfalt. Притворная простота», – сказал о нем один умный немец. Есть и у русских пословица: простота хуже воровства.

В грядущих веках узнают, конечно, все педанты и школьники, что царь Петр сам себе штопал чулки, чинил башмаки из бережливости. А того, пожалуй, не узнают, что намеренно рассказывал мне один русский купец, подрядчик строевого леса.

– Великое брусье дубовое лежит у Ладоги, песком засыпано, гниет. А людей за порубку дуба бьют плетью да вешают. Кровь и плоть человечья дешевле дубового леса!

Я могла бы прибавить: дешевле дырявых чулков.

«C'est un grand poseur! Это большой актер!» – сказал о нем кто-то. Надо видеть, как, провинившись в нарушении какого-нибудь шутовского правила, целует он руку князю-кесарю:

– Прости, государь, пожалуй! Наша братия, корабельщики, в чинах неискусны.

Смотришь и глазам не веришь: не различишь, где царь, где шут.

Он окружил себя масками. И «царь-плотник» не есть ли тоже маска – «машкерад на голландский манир?» И не дальше ли от простого народа этот новый царь в мнимой простоте своей, в плотничьем наряде, чем старые московские цари в своих златотканых одеждах?

– Ныне-де стало не по-прежнему жестоко, – жаловался мне тот же купец, – никто ни о чем доложить не смеет, не доводят правды до царя. В старину-то было попроще!

Царский духовник, архимандрит Феодос, однажды, при мне хвалил царя в лицо за «диссимуляцию», Притворство (лат. *dissimulatio*). которую будто бы "учителя политичные в первых царствования полагают регулах<sup>6</sup>".

\*\*\*

Я не сужу его. Говорю только то, что вижу и слышу.

Героя видят все, человека – немногие. А если и сосплетничаю – мне простится: я ведь женщина. «Это человек и очень хороший, и очень дурной», – сказал о нем кто-то.

А я повторяю еще раз: лучше ли он, хуже ли людей, не знаю, но мне иногда кажется, что он – не совсем человек.

\*\*\*

Царь набожен. Сам читает Апостол на клиросе, Апостол – часть Нового Завета, включающая Деяния св.

Апостолов, Послания св. Апостолов и Апокалипсис (Откровение). поет так же уверенно, как попы, ибо все часы и службы знает наизусть. Сам сочиняет молитвы для солдат.

Иногда, во время бесед о делах военных и государственных, вдруг подымает глаза к небу, осеняет себя крестным знамением и произносит с благоговением из глубины сердца краткую молитву: «Боже, не отними милость Свою от нас впредь!» или: «О, буди. Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя!» Это не лицемерие. Он, конечно, верит в Бога, как сам говорит, «уповает на крепкого в бранях Господа». Но иногда кажется, что Бог его – вовсе не христианский Бог, а древний языческий Марс или сам рок – Немезида. Если был когда-нибудь

---

<sup>6</sup> Правило, принцип (лат. *regula*).

человек, менее всего – похожий на христианина, то это Петр. Какое ему дело до Христа? Какое соединение между Марсовым железом и Евангельскими лилиями?

Рядом с набожностью кощунство.

У князя-папы, шутовского патриарха, панагию заменяют глиняные фляги с колокольчиками. Евангелие – книга-погребец со склянками водки; крест – из чубуков.

Во время устроенной царем, лет пять тому назад, шутовской свадьбы карликов, венчание происходило при всеобщем хохоте в церкви; сам священник от душившего его смеха едва мог выговаривать слова. Таинство напоминало балаганную комедию.

Это кощунство, впрочем, – бессознательное, детское и дикое, так же, как и все его остальные шалости.

Прочла весьма любопытную новую книжку, изданную в Германии под заглавием:

«Curieuse Nachricht von der itzigen Religion I.K.M. in Russland Petri Alexieviz und seines grossen Reiches, dass dieselbe itzo fast nach Ewaiigelische-Lutherischen Grundsätzen eingerichtet sei».

«Курьезное Известие о религии царя Петра Алексеевича о том, что она в России ныне почти по Евангелически-Лютеранскому закону установлена».

Вот несколько выписок:

"Мы не ошибемся, если скажем, что Его Величество представляет себе истинную религию в образе лютеранства.

Царь отменил патриаршество и, по примеру протестантских князей, объявил себя Верховным Епископом, то есть, Патриархом церкви Российской. Возвратясь из путешествия в чужие земли, он тотчас вступил в диспуты со своими попами, убедился, что они в делах веры ничего не смыслят, и учредил для них школы, чтоб они прилежнее учились, так как прежде едва умели читать.

И ныне, когда руссы разумно обучаются и воспитываются в школах, все их суеверные мнения и обычаи должны исчезнуть сами собою, ибо подобным вещам не может верить никто, кроме самых простых и темных людей. Система обучения в этих школах совершенно лютеранская, и юношество воспитывается в правилах истинной евангелической религии. Монастыри сильно ограничены, так что не могут уже служить, как прежде, притоном для множества праздных людей, которые представляют для государства тяжелое бремя и опасность бунта. Теперь все монахи обязаны учиться чему-нибудь полезному, и все устроено похвальным образом. Чудеса и мощи также не пользуются прежним уважением: в России, как и в Германии, стали уже верить, что в этих делах много наплутано".

Я знаю, что царевич читал эту книжку. С каким чувством он должен был ее читать?

\*\*\*

Однажды при мне, за стаканом вина, в дубовой рощице в Летнем саду у дворца, где царь любит беседовать с духовенством, администратор духовных дел, архимандрит Феодос рассуждал о том, «коих ради вин и в каком разуме были и нарицались императоры римские, как языческие, так и христианские, понтифексами, архиереями многобожного закона». Выходило так, что царь есть верховный архиерей, первосвященник и патриарх. Очень искусно и ловко этот русский монах доказывал, по Левиафану английского атеиста «Гоббзиа» (Гоббса), *civitatem et ecclesiam eandem rem esse*, что «государство и церковь есть одно и то же», разумеется, не с тем, чтобы преобразить государство в церковь, а наоборот, церковь в государство. Чудовищный зверь-машина. Левиафан проглатывал Церковь Божию, так что от нее и следа не оставалось.

Рассуждения эти могли бы послужить любопытным памятником подобострастья и лести монашеской изволению государеву.

\*\*\*

Говорят, будто бы еще в конце прошлого 1714 года, царь, созвав духовных и светских сановников, торжественно объявил, что «хочет быть один начальником Российской Церкви и представляет учредить духовное собрание под именем Святейшего Синода».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.